



## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---

- [Александра Анненская](#)

- 
- [Введение](#)
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Источники](#)

- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
-

# **Александра Анненская Жорж Санд. Ее жизнь и литературная деятельность**

*Биографический очерк А. Н. Анненской  
С портретом Ж.Санд, гравированным в Лейпциге  
Геданом*



## Введение

Жорж Санд принадлежит одно из почетнейших мест среди представителей французского романтизма. Ее литературная деятельность обнимает почти столетия. Начало этой деятельности совпадает с расцветом направления, явившегося на смену классического, конец – с торжеством натурализма.

Основной чертой французского романтизма был протест: во внешней форме – протест против псевдоклассицизма, против стеснительных правил поэзии, завещанных «образцовыми» писателями XVII века; во внутреннем содержании – протест против устарелых идей и вековых предрассудков. Этот дух протеста, – протеста во имя права человеческой личности на счастье и свободное развитие, – пронизывает все романы Жорж Санд.

«У Жорж Санд нет ни любви, ни ненависти к привилегированным сословиям, – пишет Белинский, разбирая один из ее романов, – нет ни благоговения, ни презрения к низшим слоям общества; для нее не существуют ни аристократы, ни плебеи; для нее существует только человек, – и она находит человека во всех сословиях, во всех слоях общества, любит его, сострадает ему, гордится им и плачет о нем. Но женщина и ее отношения к обществу, столь мало оправдываемые разумом, столь много основывающиеся на предании, предрассудках, эгоизме мужчин, – эта женщина наиболее вдохновляет поэтическую фантазию Жорж Санд и возвышает до пафоса благородную энергию ее негодования к легитимированной насилем невежества лжи, ее живую симпатию к угнетенной предрассудками истине. Жорж Санд есть адвокат женщины, как Шиллер был адвокатом человечества».

Женщина представлялась ей страдающей под двойным гнетом и общественных предрассудков, и семейного деспотизма. Она не видела для нее возможности какой-либо общественной деятельности, активной борьбы против существующего зла, и главным мотивом, исчерпывающим всю ее жизнь, ставила любовь.

Любви Жорж Санд придает особое, идеальное значение. Любовь, по ее понятиям, не просто чувственная страсть, физическое стремление одного пола к другому, она заключает в себе божественную сущность, она тождественна вдохновению, религиозному экстазу. Поэтому она должна быть свободна, не может подчиняться никаким стеснениям. В этой независимости заключается ее культурное значение, так как она презирает

все общественные предрассудки, уравнивает всех людей, объединяет их во имя высшего идеала. Противиться ей, бороться с нею – значит идти против воли Провидения. Естественным выводом из этого высокого понятия о любви являются все те антисемейные и революционные идеи, все те потрясения общественных устоев, которые приводили в ужас противников Жорж Санд.

Строгие моралисты вопили о безнравственности, о разрушении семьи; в ответ на это Жорж Санд говорила им: «Не нарушение супружеской верности делает женщину безнравственной, а ложь и обман». «Настоящая семья должна быть основана на взаимном уважении и честной искренности, а не на притворстве и лицемерии». «Та любовь, которая нас возвышает, которая внушает нам хорошие мысли и чувства, может быть названа благородной страстью, а та любовь, которая делает нас низкими, эгоистичными и мелочными, есть дурная страсть. Каждая страсть законна или преступна, смотря по тому, каковы ее последствия, хотя официальное общество, которое нельзя признать верховным судьей над человечеством, часто узаконивает дурную страсть и осуждает хорошую».

Романы Жорж Санд переносят нас в особый мир, где на первом плане стоят уважение к личности, геройское самоотвержение, страстная любовь, а все материальные интересы, все расчеты честолюбия, корыстолюбия и тщеславия представляются чем-то низменным и презренным. Напрасно стали бы мы искать в них точной копии окружающей нас жизни. Жорж Санд в принципе не стремилась к этой точности. «Задача художника, – говорит она, – состоит в том, чтобы возбудить любовь к предметам, которые он изображает, и я не ставлю ему в вину, если он их несколько приукрасит. Искусство не есть изучение данной действительности, а искание идеальной правды».

Это искание правды, это стремление к идеалу составляют характерную черту французских романтиков. Окружающая действительность не удовлетворяла их, и они искали спасения в области свободного творчества. Герои их часто ходульны, чувства преувеличены, самый слог подчас напыщен, но идея, лежащая в основе их произведений, всегда заключает в себе нечто благородное, возвышенное. «Дайте романы Жорж Санд в руки юноше или молодой женщине, – говорит Золя, – они их сильно взволнуют: у них останется как бы воспоминание о каком-то очаровательном сновидении, и можно бояться, что после этого действительная жизнь покажется им скучной; они будут выбиты из колеи, готовы на всякие глупости и наивные выходки. Эти книги переносят в мир химер, а ведь в конце концов все-таки приходится роковым образом окупиться в

действительность».

Золя прав: после того волшебного мира, который создают романтики-идеалисты, все пошлое, низменное в мире реальном кажется вдвое более пошлым и низким, а примирение с пошлостью вдвое более трудным. Романы Жорж Санд могут нарушить мирное равновесие в душе молодого читателя, возбудить недовольство окружающим строем, протест против установленных традицией правил. С этой точки зрения они представляют действительно опасное чтение, более опасное, чем произведения натуралистической школы, которая никогда не стремится раздвинуть рамки общепринятой морали, возвыситься над обыденными понятиями.

Виктор Гюго ставит себе в заслугу, что в своих произведениях он старался восстановить честь «шута, лакея, каторжника и проститутки». То же гуманное отношение к париям общества мы замечаем и у Жорж Санд. Она видит в каждом из обесславленных и обездоленных жертву печальных либо социальных условий, невежества и предрассудков общества, она умеет найти в нем живую человеческую душу и требует к нему не снисхождения и милосердия, а справедливости и уважения.

## Глава I

*Происхождение. – Бабка. – Отец. – Мать. – Взаимные отношения. – Первые годы жизни. – Смерть отца.*

Псевдоним «Жорж Санд» пользуется такой широкой популярностью и в Европе, и у нас, в России, что настоящее имя писательницы, скрывающейся под ним, не всем известно. Аврора Дюдеван, урожденная Дюпен, происходила, с одной стороны, от кровных аристократов, с другой – от чистых плебеев. Ее отец был внуком известного Мориса Саксонского, побочного сына польского короля Фридриха-Августа, мать – дочь простых парижских рабочих. Эта двойственность происхождения отразилась на воспитании и развитии Авроры, а может быть, и на всем складе ее характера, ее убеждений. Неисправимая идеалистка с тонким артистическим вкусом, она своими симпатиями всегда принадлежала народу, демократии.

Детство и первая молодость Авроры прошли под влиянием бабки ее, незаконной дочери Мориса Саксонского, женщины умной, начитанной, много выдавшей и испытавшей на своем веку. Жизнь этой бабки сложилась при довольно исключительных условиях: под покровительством родни отца она получила воспитание в самом аристократическом учебном заведении того времени, в Сен-Сире, и 15-ти лет выдана была замуж за побочного сына Людовика XV, графа Горна, грубого солдата, проникнутого духом казарменной дисциплины. К счастью для жены-ребенка, брак этот был непродолжителен: через год граф был убит на дуэли. Избавившись от мужа, о котором она до конца жизни не могла вспоминать без содрогания, молоденькая графиня освободилась в то же время и от опеки своих высокопоставленных родственников. Она воспользовалась этой свободой, чтобы сблизиться с матерью, известной оперной актрисой Верьер, от которой аристократическая родня всеми силами удаляла ее. Девять лет прожила она под кровом г-жи Верьер, среди шумных светских и литературных развлечений. В салоне знаменитой певицы и звезды полусвета собирались деятели литературы и философы, велись свободные разговоры, подвергавшие беспощадной критике и остроумной насмешке все учреждения, весь строй современного общества. Молоденькая графиня с жадностью прислушивалась к этим разговорам и увлекалась идеями, воплотившимися впоследствии во французскую революцию. Ей минуло 25 лет, когда г-жа Верьер внезапно умерла, и молодая женщина осталась

одинокой, без всяких средств к жизни. По понятиям того времени у нее оставалось два выхода – монастырь или новый брак. К монашеской жизни она не имела склонности, и потому с благодарностью приняла предложение богатого сборщика податей Дюпен де Франкеля. Г-ну Дюпену было уже 60 лет; это был добродушный, изысканно любезный щеголь и бонвиван XVIII века. Ни о какой «романической» любви между супругами не могло быть и речи, но они очень дружно и мирно прожили десять лет, называя друг друга не иначе как «папа» и «дочь моя». В первый же год после свадьбы у г-жи Дюпен родился сын Морис. На этом ребенке молодая женщина сосредоточила весь жар любви, который таился в ее сердце, не находя себе исхода. Она любила Мориса не только с материнской нежностью, но и с какой-то ревнивой страстностью. После смерти мужа, оставившего ей довольно значительное состояние, она поселилась в Париже и посвятила себя исключительно воспитанию сына. В помощники себе она взяла бывшего учителя коллегии Франсуа Дешартра, педанта, несколько узколобого ученого и малоискусного педагога, но человека высоко честного, рыцарски благородного, с самоотвержением привязавшегося и к своему ученику, и к его матери. Вспыхнула Великая французская революция. Г-жа Дюпен, подобно многим своим современникам, не могла примириться с осуществлением на практике тех самых идей, которые она так страстно приветствовала в теории. Кровавые драмы народных восстаний возбуждали ее отвращение. Большая часть ее состояния погибла во время революционных смут; боясь лишиться остального, она купила имение Ноган<sup>[1]</sup> в Берри, а разные драгоценные вещи замуровала в стене своей парижской квартиры. Но вот Конвент издал декрет, запрещающий гражданам республики утайку драгоценностей; вследствие какого-то доноса у г-жи Дюпен произвели обыск, нашли спрятанные вещи, конфисковали их, а ее посадили в тюрьму. Началось следствие, допросы, квартиру опечатали, чтобы потом произвести в ней вторичный, более тщательный обыск. А между тем там хранились письма, полученные г-жой Дюпен от некоторых эмигрантов, друзей ее молодости. Письма эти могли стоить ей головы. Спасителем ее явился Дешартр. Он пробрался ночью к ее дому, осторожно снял печати с дверей, сжег все компрометирующие документы и затем снова наложил печати. Его помощником в этом опасном предприятии был 15-летний Морис. После этого никаких улик против г-жи Дюпен не оставалось, ее продержали месяцев десять в тюрьме и освободили. Она поспешила оставить Париж и поселилась вместе с сыном и его наставником в своем поместье, в Ногане.

Недолго ей пришлось наслаждаться спокойной жизнью. Начались

наполеоновские войны, и Морис не мог усидеть дома. Как только издан был закон о поголовной мобилизации в 1798 году, он поступил в один из армейских полков и принял участие в итальянской кампании.

С беспокойной тоской следила мать за всеми перипетиями военных действий; любимый сын представлялся ее расстроеному воображению то убитым, то раненым, то изнывающим от трудов и лишений лагерной жизни. Молодой энтузиазм и военный пыл, которыми дышали его письма, не радовали ее, а только усиливали ее тревогу. И вдруг – ужасное известие: в битве при Гогенлиндене Морис взят в плен австрийцами и отправлен в Грац! Бедная женщина чуть с ума не сошла от горя и беспокойства. К счастью, плен продолжался недолго: через два месяца Морис получил свободу и возможность вернуться на родину. Но и тут сердце матери не могло успокоиться. Во время итальянского похода молодой человек страстно влюбился в одну красавицу-француженку, любовницу одного из высших офицеров, и в письме к матери сам откровенно признался ей в этой страсти. Мысль, что ее Морис стал жертвой какой-то лагерной искательницы приключений, не давала покоя г-же Дюпен. Каково же было ее негодование и отчаяние, когда вслед за Морисом, приехавшим провести несколько недель в Ногане, в соседний городок Шартр явилась сама красавица и открыто объявила себя его любовницей. Все демократические и либеральные убеждения г-жи Дюпен сразу исчезли, в ней проснулись инстинкты аристократки дореволюционного периода. Она осыпала упреками, чуть ли не проклятиями сына, и для избавления его от гнусной интриганки обратилась к содействию шартрской администрации. Мэр и один из муниципальных советников города попробовали явиться к красавице с официальным требованием об удалении из города, но она так пленила их своей красотой, грацией и искренним выражением своих чувств, что они перешли на ее сторону. Бедный Морис был между двух огней: с одной стороны, раздраженная мать, так много выстрадавшая из-за него и считавшая себя вправе получить от него вознаграждение за эти страдания, с другой – страстно любящая женщина, бросившая ради него бога того, знатного покровителя. Сердце молодого человека разрывалось. Чтобы выйти из затруднительного положения, он уговорил свою возлюбленную уехать в Париж, обещая вскоре последовать за нею, и сам остался на несколько недель в Ногане, уверяя мать, что навсегда расстался с Софьей. Г-жа Дюпен наполовину поверила ему, и когда он, под предлогом служебных обязанностей, уехал из Ногана, она просила своих друзей тайно следить за его жизнью и из их доносов узнавала, к своему великому огорчению, что любовная связь Мориса не прерывается, а, напротив,

укрепляется все сильнее и сильнее.

Софья-Виктория Антуанетта Делаборд была дочерью мелкого парижского ремесленника, сначала державшего маленькое кафе, а потом торговавшего чижками. Рано осталась она сиротой вместе со своей сестрой Люси. Люси зарабатывала себе пропитание шитьем, Софья поступила в какой-то маленький театр и пела в кафе-шантанах. Один раз, в самый разгар террора, она, не отдавая себе отчета, пропела подсунутые ей каким-то аббатом антиреволюционные куплеты, была арестована и посажена в тот самый английский монастырь, превращенный в тюрьму, в котором содержалась г-жа Дюпен. Обе женщины одновременно вышли из заключения, не подозревая о существовании одна другой и о том, что им еще придется сталкиваться на жизненном пути. Подробности последующей парижской жизни Софьи покрыты, что называется, мраком неизвестности; тот генерал, у которого Морис ее встретил, был не первым ее любовником, так как в Париже воспитывалась ее четырехлетняя дочь. Но, полюбив молодого Дюпена, она отдалась ему всем сердцем, без всякого сожаления бросила своего богатого покровителя, отказалась от всякой роскоши, мужественно переносила недостатки его бедной офицерской жизни, была ему верной, преданной женой. В 1804 году, чувствуя, что готовится стать матерью, она согласилась на его желание придать законный вид их связи, и они заключили гражданский брак. Вскоре после этого у них родилась девочка, которую Морис назвал в честь матери Авророй. Это и была будущая знаменитая писательница. Г-жа Дюпен пришла в страшное негодование, узнав, опять-таки от посторонних лиц, об этом решительном шаге сына. Она попыталась даже расторгнуть ненавистный ей брак, но, когда узнала, что это невозможно, принуждена была примириться с фактом. Она приехала в Париж, и тут наконец Морис признался ей во всем. Он явился к ней с девятимесячной Авророй на руках, она растрогалась, лаская красивого ребенка, простила сына и согласилась повидаться с его женой. Личное знакомство ясно показало ей, что Софья вовсе не была той безнравственной интриганкой, какой она ее считала. Чтобы окончательно упрочить мир с сыном, она к ней отнеслась вполне дружелюбно, а Софья, со своей стороны, зная, как муж горячо любит свою мать, как его мучила необходимость обманывать ее, старалась ласками и уступчивостью заслужить расположение свекрови. Через некоторое время отпразднован был церковный брак, и, по-видимому, полный мир водворился в семье.

Г-жа Дюпен возвратилась в Ноган несколько успокоенная за сына, а молодые супруги остались в Париже. Офицерское жалованье Мориса было невелико; мать, несмотря на все свое желание, не могла много давать ему.

Его положение как адъютанта – сначала генерала Дюпона, а потом Мюрата – требовало значительных обязательных расходов, так что им приходилось вести очень скромную жизнь. Они помещались в маленькой квартирке, не держали прислуги, почти не заводили знакомств.

Маленькая Аврора начала очень рано помнить себя. Отец нежно любил и сильно баловал ее, но он часто бывал в разъездах по делам службы и участвовал в кампаниях 1805—1807 гг., так что почти совсем не мог заниматься ею. Она жила с матерью и старшей сестрой, оставаясь первые годы жизни исключительно под влиянием матери. Софья Дюпен, женщина необразованная, не имевшая понятия ни о каких педагогических теориях, воспитывала девочку без всяких мудрствований так, как ей подсказывал ее материнский инстинкт. Она кормила ее неприхотливыми кушаньями собственного приготовления, одевала так же просто и чисто, как была сама одета, убаюкивала бесхитростными народными песенками, развлекала волшебными сказками, заставляла заучивать и произносить молитвы, в которых девочка не понимала ни слова. Четырех лет Аврора выучилась читать и знала несколько басен Лафонтена. Воображение ее стало развиваться очень рано. Когда ей было года три, чтобы она не мешала матери работать и не напроказила, оставаясь одна в комнате, г-жа Дюпен, уходя в кухню, сажала ее в загородку из стульев, и это маленькое пространство превращалось для малютки в волшебное царство, которое она населяла созданиями своей фантазии. Сидя на низенькой холодной жаровне, заменявшей ей стульчик, она рассказывала сама себе бесконечные сказки, в которых являлись феи, принцы, принцессы, в которых редко случались несчастья, все было светло и радостно.

Аврора неохотно играла со старшей сестрой и соседскими детьми в обыкновенные детские игры; ее любимой подругой была Клотильда, дочь ее тетки Люси, вышедшей замуж за отставного офицера. Маленький домик с садиком в предместье Парижа, где жила тетка, казался Авроре земным раем. В этом раю она вместе с Клотильдой изобретала игры, служившие как бы развитием ее сказок и открывавшие широкое поле ее фантазии. Девочки скакали на стульях, как на бешеных конях, изображали битвы, забрасывая пол лоскутьями и обломками игрушек; жалкие кустики сада представлялись им дремучими лесами, по которым они путешествовали, в которых они терялись и подвергались разным опасностям; преследуя друг друга, они, дрожа от страха, прятались за занавесью кровати и увлекались так, что доходили до настоящих галлюцинаций. Когда голоса старших возвращали их к действительности, они долго не могли прийти в себя и вспомнить, где они.

В 1808 году Морис Дюпен как адъютант Мюрата должен был принять участие в испанском походе. Непрерывные отлучки любимого мужа надоели Софье, которая к тому же была сильно ревнива, и, несмотря на свою беременность, она решила отправиться к нему в Мадрид, оставив старшую дочь на попечение сестры и взяв с собой младшую – Аврору. Путешествие по стране, опустошенной войной и враждебно настроенной против французов, представляло большие трудности; тем не менее они благополучно добрались до Мадрида, и маленькой Авроре показалось, что она перенеслась в волшебный мир своих сказок. Французский главнокомандующий и его свита поселились во дворце, покинутом королевской фамилией, девочка бегала по раззолоченным залам и великолепным террасам, играла игрушками, оставленными королевскими детьми, танцевала болеро перед громадными зеркалами, одевалась то испанкой, то маленьким офицером, считала Мюрата, поразившего ее блеском своего парадного мундира, сказочным героем, принцем Фанфаринетом.

Два месяца прожили они в этой роскошной обстановке; в это время у Софьи родился мальчик, слабенький и слепой, а раздражение испанцев против французов возросло до такой степени, что дальнейшее пребывание в Мадриде грозило серьезной опасностью. Мюрат получил новое назначение: он должен был отправиться в Неаполь и занять там вакантный престол. Морис отпросился в отпуск, решив провести вместе с семьей несколько недель в Ногане. Обратный путь из Испании представлял целый ряд мучений. Путешественникам приходилось проезжать мимо полей сражений, покрытых ранеными и убитыми, по опустошенным полям, полуразрушенным городам и выжженным деревням; они страдали от жары, от голода и жажды; у Авроры сделалась сильнейшая лихорадка и чесотка, новорожденный был еле жив. Ноган показался им земным раем после всех злоключений дороги. Благодаря разумному и нежному уходу бабушки Аврора через несколько дней совершенно оправилась, но мальчик вскоре умер. Эта смерть сильно огорчила и Софью, и ее мужа, но семью ждало новое несчастье. Морис поехал в гости к знакомым на очень горячей лошади, подаренной ему принцем Астурийским. На обратном пути лошадь чего-то испугалась, сбросила его на грудь камней, и он расшибся до смерти.

## Глава II

*Семейные несогласия. – Воспитание. – Игры. – Товарищи. – «Корамбе». – Мечты. – Горести.*

Общее горе на время сблизило старую и молодую Дюпен, но сближение между двумя столь несходными натурами не могло быть прочным. По словам Жорж Санд, они представляли «два крайних полюса женского типа. Одна – белокурая, серьезная, спокойная, настоящая саксонка благородной расы, с манерами, исполненными достоинства и благосклонного покровительства; другая – брюнетка, бледная, пылкая, неловкая и робкая в светской гостиной, но всегда готовая на меткое словцо, когда смешная претензия возбуждала ее сарказм, на бурную вспышку, когда ее чувство было затронуто; натура испанки – ревнивая, страстная, вспыльчивая и слабая, злая и добрая в одно и то же время». Старая г-жа Дюпен принадлежала к образованнейшим и начитаннейшим женщинам своего времени, высоко ценила умственное развитие, разделяла философские воззрения энциклопедистов, на религию смотрела с точки зрения Вольтера, своего любимого писателя. Софья была женщиной совершенно необразованной, но в высшей степени талантливой. Самоучкой, не имея никакого понятия о грамматике, она выучилась правильно писать, очень недурно рисовала, прелестно пела, была мастерица на всякие ручные работы. Никогда не задумывалась она ни над религиозными, ни над социальными вопросами; она была верующей непосредственно, по-детски, без всякой примеси ханжества, и демократка по понятиям, унаследованным от семьи, при витым обстановкой ранней молодости.

Г-жа Дюпен любила спокойную, правильную, однообразную жизнь и уединение Ногана, – уединение, прерываемое лишь изредка посещениями ее старых аристократических друзей, обломков дореволюционной Франции; Софья вечно жаждала перемен, движения, обожала Париж с его постоянной сутолокой, осыпала едкими сарказмами «старых графинь». К этой противоположности инстинктов и стремлений, которая сама по себе неизбежно должна была вызывать столкновения, присоединилась еще борьба обеих женщин за обладание сердцем сначала Мориса, потом маленькой Авроры. Обе они сильно любили девочку, но проявления этой любви были совершенно различны. Софья относилась к ребенку со своей обычной страстностью и непосредственностью. Она нежно ласкала ее,

старалась доставлять ей всякие удовольствия, входила в ее детские интересы и – сама во многих отношениях ребенок – без всякой предвзятости восхищалась вместе с нею и красивым цветком, и нарядной выставкой в окне магазина, и каким-нибудь игрушечным гротом из блестящих камешков. Скептицизм Парижа не разрушил в ней наивных верований женщины из народа, и она не спешила разрушать иллюзии, какие создавало пылкое воображение девочки, не спешила разубеждать ее в существовании разных фей, гениев, рождественского старика, приносящего детям подарки, и т. п. Но, с другой стороны, вспыльчивая и раздражительная, она не стеснялась в проявлении и этих чувств. Когда какая-нибудь детская шалость, непослушание или каприз Авроры возбуждали ее гнев, она кричала на девочку, осыпала ее бранью и упреками, а иногда очень больно била. Успокоившись через несколько минут и спохватившись, что зашла слишком далеко, она бросалась к обиженному ребенку, хватала ее на руки, покрывала поцелуями, просила у нее прощения, и Аврора, забывая обиду и боль побоев, отвечала со страстной нежностью на эти ласки и обожала мать.

Г-жа Дюпен видела в Авроре живой портрет своего дорогого Мориса и перенесла на нее весь остаток своей материнской любви. Ее чувство было, может быть, более глубоко, чем чувство ее невестки, но она была слишком спокойна и не экспансивна, чтобы найти отклик в сердце ребенка. Г-жа Дюпен терпеливо занималась ее образованием, разумно заботилась о ее здоровье, давала на все ее вопросы ясные и вразумительные ответы, никогда не бранила и не наказывала ее, все свои выговоры ей делала всегда тихим, кротким голосом, – а между тем Аврора боялась ее гораздо больше матери, долго чуждалась ее и чувствовала к ней скорее уважение и благодарность, чем настоящую детскую любовь.

Г-жа Дюпен хотела взять воспитание девочки исключительно в свои руки, обещала дать ей хорошее образование, сделать ее наследницей всего своего состояния, а Софье обязывалась выдавать небольшую пенсию, на которую она могла бы жить в Париже со своей старшей дочерью. Софью тянуло в Париж, где она могла устроить себе жизнь по своему вкусу, но для нее было слишком тяжело расстаться с Авророй, оставить ее на руках нелюбимой свекрови. Она, конечно, могла бы увезти с собой девочку и приучить ее к бедной мещанской обстановке, но она боялась этим испортить всю ее жизнь, лишить ее и средств для получения образования, и обеспеченной будущности. Три года продолжались ее колебания, и эти колебания, переговоры и пререкания не могли не внести своей доли горечи в отношения между свекровью и невесткой.

Маленькая Аврора была невольной свидетельницей борьбы, которая велась из-за нее, и не могла относиться к ней безучастно, хотя не вполне понимала, в чем дело. Ее детскому уму представлялись, с одной стороны, большие красивые комнаты Ногана и хотя и добрая, но довольно страшная бабушка, с другой – маленькая уютная парижская квартирка, миленькая сестрица Каролина, баловавшая ее в раннем детстве, и страстно любимая мать; все ее симпатии естественно склонялись ко второму, и она всей своей маленькой душой ненавидела деньги, «за которые ее хотели продать». Пришлось постепенно приучать ее к разлуке с матерью. Переселившись в Париж, Софья несколько раз приезжала гостить в Ноган, г-жа Дюпен возила девочку в Париж; но Аврора до конца не могла примириться с тем, как взрослые распорядились ее судьбой, и таила в глубине сердца осадок горечи против бабушки, самовластно разлучившей ее с матерью и сестрой.

Эта горечь отравляла детские годы Авроры, которые без этого могли бы считаться вполне счастливыми. В Ногане она пользовалась почти полной свободой и обществом своих сверстников – детей соседей-помещиков и крестьян близлежащей деревни. Постоянными товарищами ее были: сводный брат Ипполит, незаконный сын Мориса и какой-то служанки, воспитывавшийся у г-жи Дюпен, и маленькая крестьянская девочка Урсула, взятая в дом для компании ей, веселая, живая болтушка, очень умненькая и в то же время большая упрямецка, ни в чем не уступавшая барышне и не позволявшая ей властвовать над собой. С Урсулой Аврора предавалась своим любимым играм – сказкам, дававшим полную волю ее воображению; с Ипполитом, который был на 5 лет старше девочек, она проделывала разные шалости и проказы, приводившие в ярость и отчаяние старого Дешартра, занимавшего в доме двойную должность: управляющего имением г-жи Дюпен и учителя детей.

До 8-ми лет Аврора училась чтению и письму у матери, но затем, когда Софья уехала в Париж, она стала брать уроки у Дешартра вместе с Ипполитом. Ее учили французской грамматике и версификации, латинскому языку, арифметике, давали ей некоторые отрывочные сведения из географии, истории и ботаники. «Все эти уроки казались мне в высшей степени скучными, – пишет Жорж Санд в своей автобиографии, – и я совершенно не понимала, для чего мне были нужны эти знания. Никто не говорил мне, что образование делает человека лучше и разумнее; считалось, что надобно учиться, чтобы не прослыть невеждой, чтобы уметь поддерживать разговор с образованными людьми, чтобы читать книги, стоявшие в шкафу, и этим путем отчасти разгонять скуку деревенской жизни. Все подобные соображения казались мне совершенно

неубедительными, и я училась исключительно в угоду бабушке, покорно, добросовестно заучивала уроки, но не находила в них никакого интереса». Единственным предметом, увлекавшим девочку, была история, которую ей преподавали не как науку, а как сборник анекдотов и рассказов о богах и героях древнего мира.

Пылкая фантазия переносила ее в древнюю Элладу или на берега Тибра, и она сама себе дорисовывала картины, слегка намеченные в учебниках. Г-жа Дюпен, заботившаяся о том, чтобы у ее внучки выработался правильный, изящный слог, заставляла ее делать компиляции и письменные пересказы прочитанного. Аврора с удовольствием занималась этими упражнениями и, не стесняясь, добавляла и украшала факты, заимствованные из книг, собственными соображениями и созданиями собственной фантазии. Г-жа Дюпен, бывшая в молодости прекрасной музыкантшей, стала очень рано учить ее игре на фортепьяно и передала ей свою любовь к музыке, свое понимание этого искусства. Позднее, когда место бабушки занял бездарный учитель, заботившийся главным образом о развитии беглости пальцев, девочка и к этим урокам потеряла всякую охоту; она механически исполняла то, что требовал учитель, а в утешение себе пела и играла на фортепьяно импровизации собственного сочинения, когда никто ее не слышал.

Обязательные занятия отнимали у Авроры часа два-три в день; все остальное время она была предоставлена самой себе, свободно бегала, резвилась и гуляла как в парке, так и в окружающих его полях, лесах и виноградниках. Она пасла гусей с маленькими птичницами, овец и коз с пастушками, сгребала сено на лугах, помогала бедным женщинам собирать колосья на полях во время жатвы и сухие прутья в лесу. Она лазила через заборы, перескакивала через рвы и канавы, с наслаждением скатывалась с высоких стогов соломы, с бьющимся сердцем слушала все сказки и поверья крестьян. Она предавалась всем детским забавам с увлечением здорового ребенка, но ни они, ни скучные уроки не удовлетворяли ее вполне, не наполняли всей ее жизни. У нее был свой внутренний мир, населенный грезами ее фантазии и недоступный никому из окружающих. Маленьким ребенком она старалась воплощать этот фантастический мир в своих играх; становясь старше, она мысленно сочиняла бесконечно длинные романы и поэмы. Одиннадцати лет она прочла «Илиаду» и «Освобожденный Иерусалим». Обе эти книги произвели на нее сильное впечатление. Несколько дней жила она полностью под обаянием этих поэм, мысленно продолжая их, придумывая новые комбинации отношений между героями. Но, кроме эстетического наслаждения, они вызвали в ней и сильную

потребность в религиозном чувстве. Ее религиозным воспитанием никто не занимался. В раннем детстве мать заставляла ее механически повторять слова молитвы и говорила ей о Св. Деве, об ангелах, оплакивающих грехи мира, но эти священные образы сливались в ее представлении с образами фей и добрых гениев. Г-жа Дюпен находила преждевременным внушать свой скептицизм ребенку и в то же время старалась оградить ее от суеверий, развивать в ней трезвый, рассудочный взгляд на мир. Ей давали читать мифологию вместе со Священной историей и предоставляли по собственному усмотрению верить во всех богов или не верить ни в одного; она не верила, а между тем, говорит она в своей автобиографии, «мне нужен был идеал, нужен был Бог, которого я могла бы поставить во главе Вселенной, во главе идеализированного человечества. Великий творец Иегова, великий фатум Юпитер не удовлетворяли меня. Евангелие и божественная драма жизни и смерти Христа заставляли меня втайне проливать потоки слез. Иисус Христос представлялся мне существом совершенным, превосходящим все прочие, но христианская религия запрещала любить философов, богов, святых древности, а это стесняло меня. Мне нужны были „Илиада“ и „Иерусалим“ вместе». Она решила создать себе свою собственную религию. «Я не верю в свои сказки, но они доставляют мне столько удовольствия, как будто бы я в них верила. К тому же если иногда мне и случится поверить, никто этого не узнает, никто не станет со мною спорить и доказывать мне, что я ошибаюсь», – рассуждала она. И вот однажды ночью ей представился образ и имя. Имя это ничего не значило, это было случайное сочетание слогов – «Корамбе»; но это стало заглавием ее романа, именем ее Бога, той формой, в которую она долгое время облекала свой религиозный идеал. «Корамбе, – рассказывает она, – был чист и милосерден, как Иисус, лучезарен и прекрасен, как Гавриил, обладал грацией нимф и поэзией Орфея. Он не имел пола и являлся мне то в образе женщины, то в образе мужчины. Я наделяла его всеми атрибутами физической и нравственной красоты, даром красноречия, всемогущей силой искусств, в особенности силой музыкальной импровизации; я хотела любить его как друга, как сестру, и в то же время чтить, как Бога. Я не хотела бояться его, и потому решила, что он должен иметь какую-нибудь человеческую слабость; я искала, какая из этих слабостей может примириться с его совершенством, и нашла, что скорей всего излишняя доброта и снисходительность. Это мне очень понравилось, и существование Корамбе развертывалось в моем воображении целым рядом испытаний, страданий, мученичества. Я называла книгой или песней каждую фазу его воплощения, так как он становился мужчиной или

женщиной всякий раз, когда касался земли, и иногда веровное, всемогущее божество, назначившее его правителем нравственного мира нашей планеты, удлиняло срок его изгнания среди нас в наказание за его излишнюю любовь и снисходительность к нам. В каждой из этих песен (в моей поэме их было до тысячи, хотя ни одна не была написана) целый мир новых личностей группировался вокруг Корамбе. Все они были добрыми. Злые люди никогда не появлялись на сцене, их присутствие выражалось лишь в картинах бедствий и разрушений, причиняемых ими. Корамбе постоянно всех утешал, все восстанавливал. Он являлся мне среди пленительных красот природы, окруженный грустными и нежными существами, которых он очаровывал словом и пением, которые рассказывали ему о своих страданиях, которых он возвращал к счастью путем добродетели. Сначала я отдавала себе отчет в своем творчестве, но через некоторое время уже не я владела предметом, а он мною. Мои грезы доходили до степени полных галлюцинаций, уносивших меня далеко от реального мира».

Аврора не довольствовалась одними грезами, она создала нечто вроде культа своему Корамбе. Она отыскивала в парке Ногана маленькую лужайку, окруженную чащей толстых деревьев и густых кустарников, куда до тех пор не ступала ни одна нога, не проникал ни один взгляд человеческий. Там она устроила из разноцветных камешков, мха и раковин нечто вроде жертвенника, украсила его гирляндами и букетами цветов и приносила на нем своему Корамбе жертвы; жертвы эти состояли в том, что она ловила птичек, маленьких зверьков, насекомых, запирала их в ящичек и потом выпускала на волю в честь бога любви и свободы.

Мысль о Корамбе всюду преследовала ее. Лежа вечером в постели, гуляя одна в аллеях парка, помогая своим деревенским подругам в их работах или чинно сидя в гостинной бабушки, она добавляла новые и новые песни к своему произведению, черпая материал для них то из прочитанной книги, то из услышанного разговора, то из какого-нибудь мелкого события окружающей жизни. Так как уроки отнимали у нее очень мало времени, то она часто проводила целые часы в бездействии и мечтательности.

Кроме фантастических грез вроде Корамбе, ее занимала мечта, имевшая более реальную подоплеку, – мечта жить с матерью, которую она не переставала страстно любить. Чем старше она становилась, тем более мучительно действовали на нее расставанья после всякого свиданья с матерью в Ногане или в Париже, тем более угнетала ее мысль, что ради каких-то практических расчетов она разлучена с самыми дорогими, близкими людьми. «Неужели вы хотите вернуться на свой чердак и есть

одни бобы?» – сказала ей один раз горничная ее бабушки, думая образумить ее. И с этих пор этот чердак, эти бобы стали любимой мечтой девочки, а Ноган представлялся ей каким-то местом ссылки.

Мечтательность особенно развилась в девочке, когда ей было лет 12—13. В это время ее любимая подруга Урсула не жила с нею, брат ее Ипполит, уже 17-летний юноша, поступил на службу в полк, г-жа Дюпен стала сильно прихварывать, не могла много заниматься ею и проводила целые часы, иногда даже дни, запершись у себя в комнате. Аврора была предоставлена самой себе и находилась в значительной степени в зависимости от прислуги, которая, пользуясь болезнью хозяйки, распоряжалась в доме самовластно. Нянька, приставленная к девочке матерью и очень привязанная к ним обоим, тем не менее обращалась с нею крайне грубо, бранила, зачастую даже била ее; доверенная горничная ее бабушки подглядывала и подслушивала за нею, наушничая на нее своей барыне. Дешартр надоедал ей скучными уроками, не умея дать ее уму той пищи, какая требовалась. Всякая домашняя неприятность усиливала желание девочки вернуться к матери, и это страшно мучило г-жу Дюпен. Она чувствовала, что существо, на котором она сосредоточила весь остаток своей привязанности, не отвечает ей взаимностью, что Софья отняла у нее и это сердце так же, как сердце ее Мориса; с другой стороны, предубеждения ее против невестки ни в коей мере не исчезли; она искренно считала, что отпустить девочку к матери – значит погубить ее.

Чтобы одним ударом вырвать из сердца Авроры любовь к матери и желание жить с нею, она придумала жестокое средство. После одной из вспышек девочки она позвала ее к себе и дрожащим от волнения голосом рассказала ей историю ее матери так, как знала и понимала ее сама, – историю женщины, с 14-ти лет брошенной в круговорот парижской жизни, в жертву нищете и разврату, без поддержки, без средств к честному существованию. «Твоя мать, – погибшая женщина, – закончила она, – а ты – ос лепленный ребенок, стремящийся броситься в бездну!»

Девочка в своей невинности не вполне понимала, в чем обвиняли ее мать и какие опасности грозили ей самой; но сама таинственность этих обвинений и опасностей произвела на нее потрясающее действие. Ей сказали, что ее обожаемая мать опозорена, и она чувствовала, что этот позор падает и на нее; перед ней открыли мрачные стороны жизни, и светлый мир ее идеалов вдруг погас. Все мечты ее сразу исчезли, ее Корамбе улетел, жизнь представлялась ей какой-то страшной, таинственной загадкой, в которую ей не хотелось заглядывать. Она стала жить машинально одним днем, ни о чем не мечтая, ничего не желая; когда она

оставалась одна, ее осаждали разные мрачные мысли, и, чтобы избавиться от них, она принимала участие в самых буйных шалостях деревенских детей. Она не старалась ни угождать бабушке, ни избегать упреков и приводила в ужас домашних необузданностью своих манер, грубостью ухваток, дерзостью ответов, нелепостью своего времяпрепровождения. Г-жа Дюпен с болью в сердце видела, что не в состоянии сделать из нее благовоспитанную, образованную барышню и решила отдать ее на несколько лет в монастырь, где она пользовалась бы уроками хороших наставниц и в то же время отвыкала бы от деревенской грубости и неукротимости.

## Глава III

*Монастырь. – Снова в Ногане. – Чтения. – Романтический пессимизм. – Сплетни. – Болезнь и смерть бабки.*

Учебное заведение, куда поместили Аврору, был тот самый английский монастырь, который во время революции был превращен в тюрьму и служил местом заключения для ее бабушки и матери. При Реставрации ему было возвращено его прежнее назначение. Это был монастырь, основанный англичанками-католичками, переселившимися во Францию во времена Кромвеля. Настоятельница, сестры и большая часть воспитанниц были англичанки или ирландки; впрочем, и французские аристократы охотно помещали туда своих дочерей. Конечно, монастырь не давал своим воспитанницам широкого или основательного образования, но об этом никто и не заботился в то время. Молодые девушки обучались религии и нравственности, брали уроки английского языка, музыки, пения, рисования, танцев, литературы и истории, главным же образом они проводили опасные годы «первой молодости» вдали от света, в обществе и под надзором тихих, богобоязненных монахинь, и родители были вполне довольны, не желали ничего лучшего.

Новая обстановка, резко отличная от прежней, благотворно подействовала на Аврору. Дисциплина школьной жизни, общество подруг, детские шалости и интересы, – все это отвлекало ее от мечтательности и от тех недетских вопросов, над которыми она мучилась в Ногане. По монастырскому уставу, воспитанницы имели право отпуска к родным только два раза в месяц. Г-жа Дюпен потребовала, чтобы девочка не ходила к матери: она покорилась, но объявила, что в таком случае не станет ходить и к родным отца. Благодаря этому она в течение трех лет только два раза воспользовалась правом выхода за монастырские стены во время приездов г-жи Дюпен в Париж. Это затворничество не тяготило ее, напротив, она с первых же дней вполне отдалась школьной жизни и ее интересам. Воспитанницы заведения разделялись на три категории: умницы (*les sages*) – благодетельные, прилежные, благочестивые девочки, соблюдавшие все монастырские правила; дьяволы (*les diables*) – лентяйки, шалуни, тайно и явно нарушавшие предписания начальства; и глупые (*les bêtes*), не пристававшие ни к одной из первых категорий, смеявшиеся проказам «дьяволов», смиренно опускавшие глаза перед начальством и при всякой опасности спешившие заявить: «Я не виновата».

Аврора с первых же дней примкнула к «дьяволам» и приняла самое деятельное участие во всех их проказах и затеях. Одной из затей, особенно увлекавших шалуний, было «отыскивание жертвы». Среди пансионерок монастыря существовала легенда, что где-то в подземельях или замураванная в одной из толстых стен обители томится какая-то узница или даже несколько узниц. И вот «дьяволы» – и в числе их Аврора – пользовались всяким случаем улизнуть из класса или из-под надзора своих воспитательниц и, вооружившись лопатами, щипцами, палками, отправлялись разыскивать таинственную затворницу. Они спускались в погреба и старались открыть какую-нибудь заложённую дверь, рыли ход под полуразвалившейся стеной часовни, с опасностью для жизни карабкались на крыши, чтобы заглянуть в слуховые окна, и т. п.

Целый год Аврора приводила в отчаяние всех учительниц и надзирательниц своей леностью, непослушанием, равнодушием к выговорам и наказаниям. Потом, совершенно неожиданно для всех окружающих, с ней произошел крутой переворот. Она стала всматриваться в образа, висевшие в церкви, вид молящихся монахинь приводил ее в умиление, она попробовала читать Евангелие и вот раз вечером случайно зашла в церковь. Тишина и таинственный полумрак храма произвели на нее потрясающее впечатление. Ей показалось, что чей-то голос прошептал над ее ухом те же слова «tolle, lege», которые слышал во время молитвы Св. Августин; ею овладел религиозный экстаз, она опустилась на колени и долго молилась без слов, со слезами, с рыданиями, вся охваченная чувством веры. С этой минуты исчез весь религиозный индифферентизм, привитый ей бабушкиным воспитанием, и она отдалась религии со всем увлечением страстной натуры. «Лето прошло для меня в полном блаженстве, – говорит она в своих записках. – Я причащалась каждое воскресенье, иногда два дня сряду. Я ни о чем не раздумывала и мне приятно было не думать. Я буквально пламенела, как Св. Тереза; я не спала, не ела; я ходила, не замечая движений своего тела; я налагала на себя разные лишения и это не было подвигом, так как я их не чувствовала. Никакой пост не казался мне тяжелым; вместо власяницы я носила на шее филигранные четки, которые царапали меня до крови, и это доставляло мне удовольствие. Я находилась в постоянном экстазе, тело мое стало нечувствительным, оно как бы перестало существовать для меня». Все детские шалости, все «дьявольство» было забыто, она стала кротка, послушна, благоразумна. Только уроки, к которым она до тех пор относилась небрежно из духа непокорности, теперь окончательно опротивели ей. Она решила, что посвятит себя Богу, что непременно

примет монашество, и ввиду этого танцы, музыка, история казались ей занятиями совершенно бесполезными. Целый год продолжалось это мистическое настроение девочки, но в конце концов оно пагубно отразилось на ее здоровье. Она стала страдать бессонницей, отсутствием аппетита, спазмами желудка, сделалась слабой, вялой. Молитва ее потеряла прежнюю горячность, на нее нападали припадки тоски и уныния, во время которых она уверяла себя, что благодать Господня покинула ее; она плакала, каялась, но это не помогало ей, а только увеличивало ее болезненное состояние. К счастью, духовником ее был добрый, в высшей степени разумный старичок-аббат. Он понял настоящую причину страданий девочки и нашел средство излечить ее. Он потребовал, чтобы она бросила все свои аскетические подвиги, чтобы она по-прежнему принимала участие в играх и невинных забавах подруг. «Будьте веселы, – говорил он ей, – чтобы все видели, что вера дает счастье; будьте приятны людям, чтобы сделать приятным то учение, которое вы исповедуете».

Пятнадцатилетней девочке, конечно, нетрудно было исполнить это приказание. Она начала играть и бегать, сначала неохотно, в виде епитимьи, но скоро увлеклась естественной потребностью в движении. Здоровье ее восстановилось, исчезли и нравственные терзания. Она отбросила аскетизм, религиозный экстаз не возвращался к ней более; но она сохранила живую веру, принявшую светлый, радостный характер. Девушка оставалась кроткой и послушной, занималась прилежно уроками и чтением с наставницами, а с подругами была весела и оживлена, без прежней необузданной шаловливости.

Отчасти под ее влиянием, отчасти сделавшись старше, «дьяволы» значительно остепенились и вместо головокружных походов вздумали устраивать театральные представления. Аврора писала пьесы для этих представлений, пересказывая своими словами Мольера, которого читала в Ногане, и отдавалась этой новой забаве со своим обычным увлечением.

Видя, что внучка значительно исправилась в своих «внешних» манерах, и боясь, как бы ее увлечение мистицизмом не пустило прочных корней, г-жа Дюпен взяла ее из монастыря, как только ей исполнилось 17 лет. Снова девушке предстояло сделать выбор между матерью и бабушкой, но на этот раз обстоятельства «помогли» ей. Здоровье г-жи Дюпен сильно расстроилось за последние годы, она ослабела физически и вместе с тем стала мягче, экспансивнее в выражении своих чувств. Софья, напротив, неприятно поразила дочь той резкостью, с какой говорила о своих материнских правах и вероятности скорой смерти свекрови. Аврора в первый раз почувствовала нежную любовь к бабушке, нуждавшейся в ее

услугах, и охотно поехала с нею в Ноган. Красоты природы, деревенский простор и свобода после монастырского затворничества пленяли девушку, г-жа Дюпен, тщательно скрывавшая от окружающих свои болезненные припадки, проводила с ней каждый день несколько часов в чтении и разговорах. Эти разговоры старухи, не утратившей ясности ума, заставляли молодую девушку ужасаться своего собственного невежества, возбуждали в ней желание пополнять пробелы своего образования.

Эта спокойная жизнь продолжалась всего несколько месяцев. Совершенно неожиданно г-жу Дюпен разбил паралич, после которого умственные способности отказали ей. Она лишилась свободы передвижения и впала в совершенное детство. Почти целый год пришлось Авроре провести сиделкой у постели больной, заведая в то же время домашним хозяйством. Мать ее отказалась приехать в Ноган, «пока жива старуха», и единственным помощником и собеседником ее оставался старый Дешартр. Больная проводила большую часть времени в полудремоте, и, сидя в ее комнате, Аврора могла заниматься чем хотела.

Молодая девушка принялась за чтение.

Последняя книга, которую она начала читать с бабушкой, была «Le génie du christianisme»<sup>[2]</sup> Шатобриана. Она дочитала ее одна и была сначала очарована тем новым поэтическим ореолом, в котором являлась религия под пером писателя-романтика, но затем почувствовала, что перед нею раскрывается бездна сомнений и неразрешимых вопросов. До сих пор она – по совету своих монастырских наставников – считала лучшим руководством в деле религии «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Но Фома Кемпийский и Шатобриан проповедовали совершенно противоположные взгляды. Один учил, что христианство требует полного отречения от всего земного, от всех привязанностей, от разума, от самого себя. Другой, от имени того же христианства, призывал к полной, всесторонней жизни чувства и разума. «Будем грязью и прахом!» – говорил один. «Будем светом и пламенем!» – призывал другой. «Не исследуйте ничего, если хотите верить», – предостерегал Фома Кемпийский. «Вера не боится исследования! Чтобы вполне верить, необходимо все подвергнуть исследованию!» – учил Шатобриан. Кого слушать, за кем следовать? Повинуясь Фоме Кемпийскому, она должна была бросить все светские книги, отказаться даже от ухода за больной бабушкой и запереться в монастырских стенах. Следуя советам Шатобриана, она могла предоставить полную волю как своему чувству любви и сострадания к больной, так и проснувшейся жажде умственной деятельности. Сомнения мучили девушку, и за разрешением их она обратилась к своему

монастырскому духовнику. Добрый старый аббат еще раз указал ей правильный путь: «Учитесь, читайте все, что бабушка позволяла вам, – писал он ей. – Не опасайтесь возгордиться: чем больше вы будете узнавать, тем яснее увидите, сколько вам еще недостает до полного знания. Читайте поэтов: они все религиозны. Не бойтесь философов, они бессильны против веры. Если они заронят в вас какое-либо сомнение, поколеблют вашу веру, закройте их жалкие книги, прочтите две-три главы Евангелия, и вы почувствуете, что вы умнее всех этих умников».

Ободренная советом старого аббата, Аврора со спокойной совестью принялась за чтение. Она брала книги из библиотеки бабушки без всякой системы и с жадностью поглощала тома Мабли, Локка, Кондильяка, Монтескье, Бэкона, Боссюэта, Лейбница, Паскаля, Монтеня, Ж.-Ж. Руссо и других. Метафизические тонкости и математические вычисления были ей непонятны, но произведения великих мыслителей расширяли ее умственный горизонт, возбуждали в ней самостоятельную деятельность мысли. Особенно сильное впечатление произвел на нее Руссо. «Язык Руссо и его способ рассуждения овладели мною как величественная музыка, освещенная ярким солнцем, – пишет она. – Я сравнивала его с Моцартом. Его я вполне понимала. Какое счастье для прилежного, но неспособного ученика, когда перед глазами его открывается наконец свет и весь туман исчезает! В политике я сделалась пламенной последовательницей великого учителя и надолго оставалась ею. В религии он казался мне самым христианским из всех современных ему писателей». «Была ли я католичкой в то время, когда подпала под обаяние страстной логики и горячих рассуждений Руссо? – спрашивает она себя. – Думаю, что нет. Продолжая исполнять обряды этой религии, не отказываясь от ее формул, которым я давала свои собственные толкования, я, сама того не подозревая, покинула узкую тропу ее доктрины. Я хотя и бессознательно, но бесповоротно отвергла все ее социальные и политические выводы. Дух церкви покинул меня; да может быть, он никогда и не жил во мне». Те внешние формы, в каких являлось ей католичество в Ногане, способствовали, вероятно, ее разрыву с ним. В монастыре богослужение совершалось чинно, торжественно, церковная обстановка была изящна, располагала к созерцанию, к молитве. В сельской церкви и в церкви соседнего города Шартра, напротив, все было бедно и некрасиво, духовные требы отбывались как формальность, священники прерывали слова молитвы, чтобы бранить собак, забежавших в храм, или своих прихожан, которые, не стесняясь, болтали о разных домашних делах во время богослужения. Вместо умного и тактичного духовника ей приходилось исповедоваться

или у старого, сильно выпивавшего кюре, или у молоденького городского аббата, предлагавшего ей вопросы, возмущавшие ее стыдливость. В конце концов она совсем перестала ходить на исповедь и посещать церковь. Отрешаясь от католичества, она оставалась христианкой и даже одной из причин, почему она отвергала католицизм, считала его расхождение с духом христианства.

В то время Италия и Греция начинали бороться за свое национальное освобождение. Католическая партия Франции восставала против их стремлений, и молодую девушку возмущала непоследовательность, с какой религия приносилась в жертву политическим интересам. «Дух свободы сделался для меня синонимом религиозного чувства, – пишет она. – Я никогда не забуду, что христианское чувство толкнуло меня тогда в лагерь прогресса, из которого я уже больше не выходила».

От чтения философов она перешла к моралистам и поэтам. В бессонные ночи, сидя у постели медленно угасавшей больной, она поглощала Лабрюйера, Поупа, Мильтона, Данте, Вергилия, зачитывалась Байроном и Шекспиром. Недостаток сна, беспокойство за дорогую больную расстроили ее нервы и сделали ее особенно отзывчивой к тем стонам мировой скорби, которые она находила у своих любимых поэтов.

«Байрон, которого я до тех пор не знала, нанес тяжелый удар моему бедному мозгу, – рассказывает она, – он затмил мой энтузиазм к другим менее талантливым и менее мрачным поэтам: Жильберу, Мильвуа, Юнгу, Петрарке.

„Гамлет“ Шекспира доконал меня. Все эти великие крики вечной скорби человечества увенчали то разочарование, которое поселили во мне моралисты. Зная лишь некоторые стороны жизни, я страшилась прикоснуться к остальным. Я решила удалиться от жизни; мою мечту о монастыре заменила мечта о свободном затворничестве, о деревенском уединении. В 18 лет я отлучала себя от всего человечества. Законы собственности и наследства, насилия, войны, привилегии богатства и образования, сословные предрассудки, праздность богатых, умственная тупость людей, поглощенных материальными интересами, все языческие учреждения и обычаи так называемого христианского общества глубоко возмущали меня, и в душе я протестовала против дела веков. Я не имела в то время понятия о прогрессе, я не видела исхода своим мучениям, и мысль, что я в своей скромной и тесной сфере могу работать ради будущего, не приходила мне в голову».

Окружающая обстановка не в состоянии была рассеять пессимизм девушки. Это было время самой глухой реакции во Франции, – реакции,

принимавшей среди затхлого провинциального общества форму тупого ханжества и рабского соблюдения приличий. Все выдающееся, все сколько-нибудь эксцентричное представлялось чудовищным, едва ли не преступным. Ни одна «порядочная» провинциальная барыня не решилась бы сесть на лошадь, ни одна благовоспитанная барышня не осмелилась бы, иначе как в присутствии пожилой родственницы, вести разговор с посторонним мужчиной. А между тем Аврора по целым часам скакала верхом или одна, или в сопровождении конюха; она ходила с Дешартром на охоту и к больным (старик занимался лечением и искусно делал мелкие операции), иногда ради удобства при длинных прогулках надевая мужской костюм; встречаясь с некоторыми молодыми людьми, детьми бывших друзей своего отца, она протягивала им руку и смело заговаривала с ними о разных серьезных вопросах; один из этих молодых людей даже несколько недель сряду давал ей уроки физики и анатомии. Все это приводило в ужас благочестивых кумушек Шартра. Про Аврору стали распускать невероятные сплетни: говорили, что она в любовной связи со своим конюхом, крестьянским мальчиком-подростком; что, катаясь верхом, она стреляет из пистолета в прохожих и травит собаками деревенских ребят; что она занимается тайной магией и для этого вместе с Дешартром вырывает по ночам трупы из могил; что она однажды въехала верхом в церковь, и после этого священник навсегда изгнал ее из храма Божия, и т. п.

Узнав случайно о том, как смотрят на нее соседи, девушка сделала вид, что пренебрегает их мнением; но все подобные нелепости только укрепляли ее желание сторониться людей, как и ее нелестное мнение о современном обществе. Ее меланхолия перешла в тоску, тоска – в отвращение к жизни, в болезненное стремление к самоубийству. Бог знает, до чего бы она дошла, если бы смерть г-жи Дюпен не положила конец ее уединенной жизни в Ногане, не отвлекла ее от философских вопросов и романтических мечтаний, не вернула ее к интересам реальной жизни.

## Глава IV

*Жизнь с матерью. – Замужество. – Стремление к независимости. – Париж. – Литературные знакомства и работы.*

После смерти г-жи Дюпен Авроре снова пришлось делать выбор между матерью и родными отца, которые прямо объявили, что не будут иметь с ней ничего общего, если она не согласится жить с ними, в их среде. Молодая девушка без малейшего колебания выбрала мать и уехала с нею в Париж. Мечта ее детства исполнилась: она поселилась вдвоем с матерью в маленькой квартирке (сестра ее Каролина была уже замужем) и могла вполне наслаждаться скромной мещанской обстановкой. Но тут ждало ее полное разочарование: после простора и свободы Ногана она задыхалась в тесных комнатах и на пыльных улицах; после того мира философских размышлений и поэтических грез, в который она была погружена, интересы и заботы, наполнявшие дни ее матери и знакомых матери, казались ей ничтожными, жалкими и скучными, а главное, вместо той тесной взаимной любви, на которую она рассчитывала, между нею и матерью чуть ли не с первых дней начались неприятности.

Софья досадовала, что дочь не принимает участия в ее хозяйственных хлопотах и домашних работах, а вместо того читает какие-то непонятные книги; она еще раньше получала из Шартра письма, в которых передавались все скверные сплетни насчет Авроры, и решила, что дочь ее испорчена нелепым воспитанием, что ее следует «переделать». За эту «переделку» она принялась со своей обычной необузданностью. Она беспрестанно придиралась к девушке, осыпала ее самыми нелепыми упреками и обвинениями, отнимала у нее книги. Все эти неприятности в соединении с отсутствием движения, к которому Аврора привыкла в Ногане, расстроили ее здоровье. Мать встревожилась и уговорила ее провести лето у своих знакомых, в деревне близ Мелена.

Семейство, куда попала Аврора, состояло из отца, матери и пятерых дочерей, из которых старшая была года на два моложе Авроры. Хозяева, г-да Ретьер, были веселые, радушные люди, в доме постоянно собирались гости, вечно раздавался смех, затевались игры, прогулки, театральные представления. Очутившись среди этой оживленной компании, Аврора вдруг как будто вернулась к годам детства. Все не по летам серьезные мысли, все горести, терзавшие ее последнее время, куда-то улетели, и она с беззаботностью молодости отдалась окружающему веселью.

Среди молодых людей, посещавших Ретьеров, был один офицер, Казимир Дюдеван, принимавший особенно деятельное участие во всех забавах молодежи. Между ним и Авророй скоро установились короткие, товарищеские отношения. О любви не было речи, молодые люди никогда даже не вели никаких серьезных разговоров и весьма мало знали настоящий характер друг друга, но Ретьеры, любившие сватать, решили, что они – отличная пара, и повели дело так, что к осени Казимир сделал предложение, Аврора приняла его, и свадьба была отпразднована.

Казимира Дюдевана нельзя было назвать дурным человеком, особенно в то время, когда он был еще очень молод. Это просто был человек вполне заурядный, пошлый, без всяких идеалов и возвышенных стремлений, поглощенный практическими денежными и служебными интересами. Он не сознавал, что женится на женщине, превосходившей его в умственном отношении; мало того, чуть не с первых дней брака он стал смотреть на нее сверху вниз. Ее непрактичность, ее неумение вести хозяйство, одеваться по моде, со вкусом, блистать в светской гостиной казались ему глупостью; ее способность забыть за книгой обед и сон, ее оживление и непринужденный смех в кругу детей, ее молчаливость и скупающий вид в салоне, где собиралось избранное общество, представлялись ему эксцентричностью, на которую он глядел со снисходительным полупрезрением. Страстной любви между супругами не существовало до брака, не появилось и после, но первое время они относились друг к другу предупредительно и дружелюбно. «Мы ничего не скрывали друг от друга, – говорит Жорж Санд в своей автобиографии, – но в то же время мы были не в состоянии открыть друг другу душу. Мы никогда ни о чем не спорили. Я несколько раз самым добросовестным образом старалась смотреть на вещи глазами мужа, думать и действовать согласно его желаниям. Но как только я приводила себя в полное согласие с ним, я чувствовала, что становлюсь в разладе со своими собственными инстинктами, и мною овладевала тяжелая тоска. Он, наверно, безотчетно чувствовал то же самое, и мы боялись оставаться наедине, мы старались окружить себя обществом и развлечениями». Между тем жизнь в Париже была не по средствам молодым людям: Казимир Дюдеван был небогат, Аврора получила в наследство после бабушки Ноган, доходов с которого достаточно было для безбедной жизни в деревне, а не в столице. Кроме того, именем надобно было управлять, а Дешартр, заведовавший хозяйством г-жи Дюпен, уехал из Ногана после ее смерти.

Дюдеваны решили поселиться в деревне. Чтобы угодить мужу, чтобы исполнить то, что он считал долгом честной женщины и матери семейства (через год после свадьбы у них родился сын), Аврора задумала сделаться

образцовой хозяйкой. Но тут сильнее чем когда-либо разошлась она со своими инстинктами и вкусами. Роль помещицы, имеющей возможность распоряжаться несколькими человеческими существами и эксплуатировать их труд в свою пользу, с детства возмущала ее, а особенно тяжело ей было играть эту роль в Ногане, где подвластными работниками являлись товарищи ее детских игр. «Семейные заботы никогда не были мне противны, – пишет она, – я вовсе не принадлежу к тем возвышенным натурам, которые не могут спуститься с облаков. Я много жила в облаках и, может быть, именно поэтому-то иногда чувствую потребность спуститься на землю. Часто, измученная душевными волнениями, я, подобно Панургу, готова воскликнуть: „Счастлив, кто сажает капусту! одной ногой он стоит на земле, а другой отделяется от земли только на ширину лопаты!“ Но вот этого-то железа лопаты, этого „нечто“, что находилось бы между землею и моей второй ногой, у меня и не было. Для определения цели деятельности мне необходим был мотив столь же простой и логичный, как сажание капусты. Между тем, стараясь всеми силами экономничать, как мне советовали, я видела одно, что без черствого эгоизма невозможно было соблюдать постоянно экономию. Чем более приближалась я к земле, стремясь решить задачу, как бы извлечь из нее все, что возможно, тем более убеждалась, что земля сама по себе приносит слишком мало».

Убавлять плату за труд, доводить до минимума содержание служащих, требуя от них максимум работы, – это было выше сил молодой хозяйки; в одних случаях она добровольно поступалась своими интересами, в других – окружающие пользовались ее слабостью и доверчивостью, и, наконец, при подведении годовых счетов оказалось, что ее управление слишком убыточно для хозяйства. Она отказалась от непосильной задачи и передала ведение дел мужу, который обладал меньшей совестью и большей практичностью.

Неудача Авроры на хозяйственном поприще укрепила убеждение Дюдевана в ее полной неспособности к чему бы то ни было. Он взял все управление хозяйством в свои руки, а ей предоставил проводить дни, как она хочет. Аврора снова вернулась к своим книгам и уединенным мечтаниям, от которых отрывалась или для забот о детях, или для посильной помощи крестьянам. Денег она не могла давать им, так как деньги семьи находились в руках мужа; но она воспользовалась небольшими медицинскими сведениями, какие приобрела от Дешартра, и стала усердно лечить больных, причем сама приготавливала и лекарства. Первое время свобода от хозяйственных забот была ей приятна, но вскоре та денежная зависимость от мужа, в какую она себя поставила, начала

тяготить ее. При разности их вкусов, стремлений и убеждений ей было неприятно объяснять ему каждый мелочный расход свой и видеть презрительную насмешку, с какой он относится к ее потребностям. «Я долго мучилась над вопросом, – пишет она, – как бы добыть себе средства, хоть самые скромные, но такие, какими я могла бы располагать без угрызения совести, – средства для какого-нибудь эстетического удовольствия, для небольшого благодеяния, для приобретения хорошей книги, для подарка какой-нибудь бедной подруге, наконец, для самых разнообразных мелочей, от которых, конечно, можно отказаться, но без которых живешь точно не человек, а ангел или скот. В нашем искусственном обществе отсутствие кошелька в кармане создает невозможное положение – или страшную нищету, или абсолютное бессилие».

Кроме естественного желания пользоваться некоторой материальной независимостью, у г-жи Дюдеван были и другие причины, вызывавшие в ней стремление собственным трудом составить себе самостоятельное положение. С каждым годом и она, и муж ее все более и более убеждались, какой громадной ошибкой был их брак. Они не ссорились, не осыпали друг друга бесполезными упреками, но все более и более удалялись один от другого. Казимир, не находя в жене ни веселой собеседницы, ни участницы своих забав и развлечений, стал искать удовольствий на стороне. Он заводил разные любовные интрижки, кутил с приятелями, нередко возвращался домой пьяным. Дело пошло еще хуже, когда в Ногане поселился брат Авроры со своим семейством. Несколько лет военной службы сильно испортили Ипполита: он сделался пьяницей, гулякой. Вместе с Казимиром они нередко затевали целые оргии в мирных залах Ногана, и их бессмысленный смех, их циничные разговоры возмущали до глубины души Аврору. Она не пробовала защищать святость своего домашнего очага, не пробовала вернуть себе любовь мужа, к которому сама чувствовала усиливавшуюся холодность; она с гордостью отвернулась от него и сосредоточилась на мысли, как бы избавить и себя, и детей (через четыре года после сына у нее родилась дочь) от необходимости жить с ним.

В течение четырех лет она перепробовала разные ремесла, которые могли бы дать ей средства к существованию. Она пыталась сначала заняться переводами, потом рисованием карандашом и акварелью, потом шитьем, потом разрисовкой разных мелких деревянных предметов вроде вееров, табакерок и т. п. Но все это или плохо удавалось ей, или давало слишком ничтожный заработок. Наконец во время одной из своих поездок в Париж Аврора стала посещать Луврский музей с целью изучения

различных школ живописи, и вдруг, незаметно для нее самой, мир искусства всецело овладел ею. Она решила, что должна посвятить себя одной из его отраслей – литературе и ничему больше. Еще раньше, поощряемая бабушкой и монастырскими подругами, она делала попытки писать, но всегда оставалась недовольна ими и, несмотря на похвалы окружающих, безжалостно уничтожала написанное. Теперь, вернувшись в Ноган, она немедленно с лихорадочной поспешностью принялась за писанье романа и на успехе его основывала все свои мечты о самостоятельной жизни.

Когда роман был окончен, Аврора решила, что ей необходимо пожить в Париже и войти в сношение с литературным миром столицы. В силу брачного контракта, муж обязан был выдавать ей ежегодно 1500 франков на ее личные расходы. До сих пор она не заявляла своих прав, но теперь потребовала у мужа этих денег, чтобы каждый год проводить шесть месяцев в Париже со своей маленькой дочкой, которую она не решалась оставлять без себя.

Когда Аврора Дюдеван приехала в Париж, столица Франции еще не успела успокоиться после июльского переворота. На улицах то и дело появлялись шумные толпы народа, распевавшего «Марсельезу», там и сям появлялись баррикады, происходили стычки между на родом и войсками. В литературе наступало время расцвета романтизма. Париж зачитывался только что вышедшим романом Гюго «Notre Dame de Paris» («Собор Парижской Богоматери»), театр ломился от зрителей на представлениях «Анджело» и «Марион Делорм». Молодые писатели взапуски подражали Гюго и, доводя до нелепости манеру учителя, наводняли литературу фантастическими романами и необузданно дикими драмами. Литераторы, художники, музыканты разбились на небольшие замкнутые кружки по профессиям, школам, органам печати, в которых сотрудничали, а иногда просто по местностям, из которых происходили. Молодая Дюдеван примкнула к кружку своих земляков беррийцев, во главе которого стоял Делатуш, издатель маленькой газетки «Фигаро», образованный, остроумный человек, считавшийся тонким ценителем литературы. Он принял живое участие в молодой женщине, внимательно прочел ее роман, строго раскритиковал его, заметив, что она может впоследствии написать что-нибудь получше, но советовал ей не торопиться выступать в качестве романистки, а постараться прежде приобрести побольше наблюдений и житейского опыта. Заметив, что она нуждается в средствах, он предложил ей небольшую работу в «Фигаро» с платою по 40—50 франков в месяц. Этот заработок был не лишним для г-жи Дюдеван, так как на 250 франков в

месяц с ребенком на руках было трудно хорошо устроиться в Париже. Она наняла себе квартирку на чердаке громадного пятиэтажного дома, прямо против морга, довольствовалась весьма непривлекательной пищей в соседнем ресторанчике, не могла держать постоянной служанки и должна была сама нянчиться со своей двухлетней дочкой.

Несмотря на все неудобства и лишения, эта жизнь пришлась по душе молодой писательнице. Одно смущало ее: Делатуш советовал ей, прежде чем писать романы, изучать окружающую действительность; она и сама сознавала себя совершенным новичком в жизни, а между тем это изучение представляло для нее как для женщины, и притом женщины небогатой, непреодолимые трудности. «Я видела, – пишет она, – что мои молодые земляки и товарищи детства живут в Париже на такие же скудные средства, как я, а между тем они au courant<sup>[3]</sup> всего, что может интересовать интеллигентную молодежь. События политические и литературные, новости театров и музеев, движения клубные и уличные – все им известно, они везде бывают, все видят. Я обладала такими же крепкими ногами, как они, маленькими беррийскими ступнями, которые умеют ходить по самым непроходимым дорогам в своих больших деревянных башмаках. Но на парижских мостовых я чувствовала себя как рак на мели. Тонкая обувь изнашивалась у меня в два дня; я не умела подбирать платье, пачкалась в грязи, уставала, простужалась; мои бархатные шляпки постоянно попадали под потоки воды из водосточных труб, платья мои портились и рвались с ужасающей быстротой». Чтобы избавиться от всех этих неудобств, она прибегала к тому же средству, которое уже оказывало ей услугу и в Ногане; она стала носить мужское платье. В длинном сюртуке из толстого серого сукна и таких же панталонах, в сапогах, подбитых гвоздями, в серой войлочной шляпе на голове и полотняном галстуке на шее, она казалась молоденьким студентом и могла, не привлекая ничего внимания, во всякие часы дня и ночи смело расхаживать по всем улицам Парижа, сидеть в партере театров, посещать кафе и принимать участие в оживленных разговорах и спорах, которые там велись.

Совет Делатуша – подождать писать романы – пропал для нее даром. Она в ту же зиму написала роман «Rose et Blanche» в сотрудничестве с одним из своих земляков, со своим приятелем Жюлем Сандо. Идею романа дала г-жа Дюдеван, а изложение его почти всецело принадлежало Сандо, который, однако, не захотел дать ему своего имени, уже пользовавшегося некоторой известностью среди читающей публики. Роман этот, полностью забытый в настоящее время, был подписан псевдонимом Жюль Санд и понравился публике настолько, что издатель его пожелал напечатать и

второе произведение того же автора.

## Глава V

*«Индиана». – «Валентина». – Успех. – Парижская жизнь. – «Лелия»*

Согласно договоренности с мужем, Аврора Дюдеван поехала на лето в Ноган и там она написала первый роман, составивший ей имя, положивший начало ее известности, – «Индиану». В первый раз писала она с увлечением, в первый раз почувствовала то, что называется вдохновением, и литературная работа потеряла для нее тот характер ремесленности, какой она ей придавала, избирая ее как средство завоевать себе экономическую и нравственную независимость. «Начиная писать „Индиану“, – рассказывает она, – я почувствовала очень сильное и своеобразное возбуждение, какого никогда не ощущала при моих прежних литературных попытках. Это возбуждение было скорее мучительно, чем приятно. Я писала экспромтом, без плана, буквально не зная, к чему приду, не отдавая себе отчета в той социальной задаче, которую я затрагивала. Я не была сенсимонисткой ни тогда, ни после, хотя симпатизировала многим идеям и многим сторонникам этой секты; но я не знала их в то время и не находилась под их влиянием. Единственное чувство, руководившее мною, было ясно осознанное, пламенное отвращение к грубому, животному рабству. Я сама никогда не испытала подобного рабства, я пользовалась полной свободой. „Индиана“ вовсе не моя история, как утверждали некоторые. Это не жалоба на какого-нибудь определенного господина, это – протест против тирании вообще; олицетворяя эту тиранию в одном человеке, я заключила борьбу в рамки семейной жизни только потому, что не имела претензии создать что-нибудь более широкое, чем роман нравов». Героиня романа, натура пылкая, непосредственная, воспитывается на свободе и по детской неопытности выходит замуж за старого полковника наполеоновской гвардии, Дельмара, который оказывается ревнивым деспотом с самыми грубыми инстинктами. Молодая женщина подчиняется супружескому игу, но чахнет, увядает, мечтает об избавителе. Она видит этого избавителя в блестящем аристократе Раймоне, который влюбляется в нее и увлекает ее. Она становится его любовницей, но чувственная страсть создает ей массу мучений и приводит ее к покушению на самоубийство. Ее спасает Ральф, преданный, благоразумный друг, давно втайне пылавший к ней высокой идеальной любовью. Пройдя сквозь искушение чувственности, Индиана приобретает силу бороться против деспотизма

мужа и способность самой ощущать такую же идеальную любовь, как и Ральф. Когда муж ее умирает, она соединяется с Ральфом, и они поселяются в какой-то уединенной, полудикой местности, ведут трудовую жизнь земледельцев и тратят большую часть своих доходов на выкуп черных невольников.

Парижские друзья г-жи Дюдеван пришли в восторг от «Индианы». Делатуш, считавший себя ментором молодой писательницы, отказался от своего мнения, что ей рано братья за романы. Жюль Сандо находил, что она не нуждается в его сотрудничестве и не соглашался, чтобы роман, написанный без малейшего его участия, появился в свете под псевдонимом Жюль Санд. Между тем издатель «Rose et Blanche» брался издать «Индиану» не иначе, как под именем, заслужившим симпатию публики. Чтобы выйти из затруднения, решено было оставить псевдоним Санд, но переменить имя Жюль на Жорж. С этих пор г-жа Дюдеван до конца жизни подписывала свои произведения этим псевдонимом, и литературные критики долго не могли догадаться, что за ним скрывается женщина.

Прежде чем «Индиана» вышла в свет, молодая писательница принялась уже за второй роман – «Валентину», в котором еще более ярко и определенно выразились ее демократические тенденции, ее отвращение к сословным предрассудкам.

В «Валентине» перед нами являются два мира – мир светской праздности и мир деревенского труда. Валентина, богатая аристократка, воспитанная в роскоши и выданная замуж за безнравственного, корыстолюбивого аристократа Лансака, влюбляется в простого крестьянина Бенедикта и стремится вырваться из окружающей ее искусственной обстановки и зажить мирной сельской жизнью, занимаясь хозяйством, воспитанием своих детей, домашними работами. Бенедикт – один из тех идеальных крестьян, которыми изобилуют романы Жорж Санд. Несмотря на свое плебейское происхождение, это – человек интеллигентный, кончивший курс высших наук в Париже и по убеждению возвратившийся в деревню, к скромному и тяжелому труду земледельца. Его любовь к Валентине чиста и возвышенна. На протяжении всего романа он борется против чувственной страсти, которая влечет его к ней, и не хочет сойтись с ней, пока не сделается ее законным мужем.

«Валентина» имела такой же, если не больший, успех, чем «Индиана». Журнал «Revue des Deux Mondes» посвятил ей хвалебную статью и пригласил автора в число своих постоянных сотрудников. С этих пор имя Жорж Санд заняло почетное место во французской литературе, и в то же время г-жа Дюдеван приобрела некоторую материальную обеспеченность и

могла более комфортабельно обставить свою парижскую жизнь. Она переехала из тесной холодной мансарды в более удобную квартиру, выходящую окнами в сад, взяла себе служанку, перестала заниматься мелкими домашними работами, стала собирать в своей маленькой гостиной небольшой кружок добрых друзей. Первое время ей казалось, что она достигла исполнения своих желаний, что она создала себе жизнь по вкусу и может спокойно наслаждаться ею, но ее ждало горькое разочарование. Как только имя ее приобрело известность, она стала жертвой всевозможных любопытных, праздных болтунов, нищих и попрошайек, осаждающих двери каждой знаменитости в Париже. Жорж Санд попробовала всех принимать, всех выслушивать, отвечать на все вопросы, открыть кошелек для всех нуждающихся, но очень быстро убедилась, что поток праздных посетителей поглотит все ее время, что ее средств не хватит для удовлетворения и сотой части просителей. Она попробовала запереться, велеть служанке не пускать к себе незнакомых, но беспрестанный звон колокольчика и споры у входной двери мешали работать спокойно. Мысль, что среди сотни обманщиков может попасться один действительно несчастный, которому вследствие ее отказа грозит голод, отчаяние, самоубийство, отравляла ей жизнь. Недостаток времени и житейской опытности мешали ей тщательно исследовать, кто из просителей действительно нуждается в ее помощи; она решила, что лучше помочь десяти негодьям, чем отказать одному честному человеку, и стала раздавать деньги направо и налево. «Видя, что моего заработка не хватает для удовлетворения всех обратившихся ко мне просьб, – пишет Жорж Санд, – я удваивала, учетверяла количество работы. Иногда я дорабатывалась до крайнего утомления и все-таки упрекала себя за часы отдыха и необходимых развлечений как за поблажку эгоизму, за малодушие. От природы склонная доводить свои убеждения до крайности, я долго отдавалась этой усиленной работе и неограниченной благотворительности, подобно тому, как в прежние годы, под влиянием увлечения католичеством, я, ради молитвы и религиозных экстазов, отказывалась от детских игр и забав».

И в то же время Жорж Санд ясно сознавала, что все ее усилия, все ее жертвы – капля в море, что самая щедрая милостыня может лишь отчасти успокоить совесть дающего, но не в состоянии уменьшить господствующей нищеты. Прежняя замкнутая, уединенная жизнь, поглощенная чисто индивидуальными интересами, не подготовила ее к решению тех важных социальных вопросов, на которые она наткнулась среди кипучей общественной жизни Парижа. «Едва предстала передо мной, – говорит она,

– эта задача общего бедствия, как мною овладел ужас, доходящий до головокружения. Я много размышляла; я много горевала в уединении Ногана, но там я была поглощена чисто личными заботами. Вероятно, уступая духу времени, я замыкалась в эгоистической печали, воображала себя Рене или Оберманом, приписывала себе исключительную способность чувствовать и вследствие этого – страдания, неизвестные толпе. Среда, в которой я жила в то время, располагала меня к убеждению, что никто не думал и не страдал подобно мне, так как я видела вокруг себя исключительно материальные заботы, которые исчезали по мере удовлетворения материальных потребностей. Когда мой горизонт расширился, когда предо мной предстали все горести, все нужды, все отчаяние, все пороки великой общественной среды, когда размышления мои перестали сосредоточиваться на моей собственной судьбе, но обратились на весь мир, в котором я являлась лишь атомом, тогда моя личная безнадежность распространилась на все существа, и закон фатализма предстал предо мной в таком грозном виде, что мой разум помутился. Представьте себе человека, дожившего до 30 лет, не открывавшего глаз на действительность, а между тем одаренного глазами, способными отлично видеть все, человека строгого и серьезного в глубине души, который долго давал себя баюкать и усыплять поэтическим мечтам, пламенной вере в божественный Промысел, полному отречению от всех интересов общей жизни и который – внезапно пораженный странным зрелищем этой общей жизни – всматривается в него, проникается им со своей силой чистой молодости и здоровой совести. Минута, когда я открыла глаза, имела важное историческое значение. Вместо республики, о которой мечтали в июле, возникла монархия; холера только что унесла массу жертв. Сенсимонизм, увлекший на время умы, подвергался преследованию и терпел неудачу, не разрешив великую задачу любви; искусство своими разнузданными увлечениями оскверняло колыбель романтизма. Всюду господствовали страх или ирония, смятение или бесстыдство; одни плакали на развалинах своих великодушных иллюзий, другие смеялись на первых ступенях своего грязного торжества; никто ни во что не верил: одни из разочарования, другие из атеизма. До сих пор у меня не было определенных социальных убеждений, ничто не помогало мне бороться против этого катаклизма, на котором начинало воздвигаться царство материи; и я не находила в современных республиканских и социалистических идеях достаточно света, чтобы прогнать мрак, навеваемый Мамоном на весь мир. Я оставалась одна со своей мечтой о Божестве всемогущем, но не вселюбящем, раз оно предоставило род

человеческий его собственной испорченности или его собственному безумию».

Под влиянием этого тяжелого настроения она начала писать «Лелию», не думая сначала придавать форму цельного романа отрывочным страницам, в которых с полной искренностью изображались ее собственные сомнения, ее собственные терзания; «Лелия» заменила ей отчасти «Корамбе», с той разницей, что поэма «Корамбе» осталась на степени неопределенной мечты, а все философские, религиозные и социальные вопросы, волновавшие ее в эти первые годы парижской жизни, приобретали определенную форму, появляясь на бумаге, олицетворяясь под видом действующих лиц романа. Жорж Санд не собиралась печатать этого произведения; целый год писала она его урывками, то забрасывая рукопись, то хватаясь за нее с лихорадочным жаром. Она прочла некоторые отрывки его Сен-Бёву, и он уговорил ее придать связность целому и поместить первую главу в «Revue des Deux Mondes». «Лелия», в сущности, почти не роман: романтическая фабула тонет в массе философских рассуждений, наполняющих множество писем и диалогов. Действие происходит где-то на юге Европы, как будто в Италии, но скорей в «царстве теней», как справедливо заметил Золя; действующие лица не столько реальные существа, сколько фантастические личности, являющиеся олицетворением того или другого направления философской мысли XIX века. Сама Жорж Санд признает это в предисловии ко второму изданию своего романа. «Пульхерия – это представительница эпикуреизма, наследница софизмов прошлого века, – пишет она. – Стенио – это энтузиазм и слабость нашего века, в котором ум возносится высоко на крыльях воображения и падает очень низко, подавленный реальностью, лишенной поэзии и величия; Магнус – обломок испорченного, огрубелого духовенства. Из Лелии я старалась сделать не только защитницу, но и олицетворение спиритуализма нашего времени, – спиритуализма, который не является для современного человека добродетелью, так как он не верит в предписывавший его догмат, но который остается и навсегда останется потребностью просвещенных народов, сущностью возвышенных умов».

Наряду со страстными обращениями к божеству, с восторженным поклонением идеалу, Лелия произносит тирады, полные самого безнадежного разочарования, самого отчаянного скептицизма, – тирады, достойные байроновских героев. Ее ужасает бессилие человека спасти человечество от угнетающих его бедствий, от predeterminedной ему гибели и в особенности бессилие женщины, которой приходится страдать вдвойне: и от неумолимого закона природы, и от жестоких законов

общества, осудивших ее на пассивность, на подчиненность. «Если бы я была мужчиной, – восклицает она, – я, может быть, любила бы битвы, опасности; может быть, во дни юности мне улыбнулась бы честолюбивая мечта господствовать посредством разума, покорять людей силой слова. Но я – женщина, и единственная благородная задача жизни, оставшаяся мне, – это любовь!» Та любовь, о которой мечтает, к которой стремится Лелия, вполне идеальна, изукрашена всеми цветами романтизма. «Любовь не то, что вы думаете, – говорит она влюбленному в нее поэту. – Это не страстное влечение всех наших чувств к существу созданному, это святое стремление самой эфирной части нашей души к неизвестному. Существа ограниченные, мы постоянно стараемся обмануть ненасытные желания, сжигающие нас; мы ищем удовлетворения их в окружающем нас и щедро украшаем наших непрочных идолов всеми сверхчувственными красотами, блеснувшими нам в мечтах». В ранней молодости Лелия страстно любила какого-то политического деятеля, но его полупрезрительное отношение к ней как к женщине, существу, не способному понимать общественных дел, созданному только для удовольствия мужчины, возмутило ее гордость, и она рассталась с ним. Молодой поэт Стенио любит ее первой любовью, страстной и в то же время смиренной, но она боится его чувственных порывов, она не решается отдаться ему, чтобы снова не испытать унижения своего женского достоинства. Разбитая нравственно, не находя нигде личного счастья, не веря в спасительность общественной деятельности, к которой ее призывает ее друг Вальмарино – филантроп, защитник притесняемых, борец за освобождение угнетенных народов, – она покидает свет и запирается в монастыре. Ни подвиги аскетизма, ни то поклонение, каким она пользуется среди монахинь и среди окружающего населения, не успокаивают ее, не приносят мира ее душе. «Мы оба нарушили божеские законы, – говорит она Стенио. – Вы – тем, что злоупотребляли жизнью и дошли до разврата; я – тем, что отказалась от жизни и заперлась в монастыре!» Она медленно чахнет и умирает, произнося в бреду страстное воззвание к истине, которая не открывается людям, несмотря на их тысячелетние мучительные искания ее, на их страстное, неудержимое влечение к ней.

## Глава VI

*Новые сплетни. – Гейне о Жорж Санд. – Мюссе. – Несчастливая любовь и ее последствия. – Романы «Она и он», «Он и она». – Продолжение литературной деятельности.*

«Лелия» имела громадный успех среди передовых литературных кругов и интеллигенции как Франции, так и других европейских стран; но она вызвала еще большую массу вражды, клеветы и ложных инсинуаций, чем предыдущие романы Жорж Санд. Пол автора перестал быть тайной, и те смелые мысли, которые, может быть, простили бы мужчине, являлись преступлением против нравственности под пером женщины. Злонамеренные критики не довольствовались придирчивым разбором произведения, они старались найти в нем изображение живых личностей, автобиографические подробности. Оспаривая идеи автора, они и ее самое забрасывали грязью. С этих пор сложилась облетевшая всю Европу легенда о Жорж Санд как о женщине распущенной, низкой нравственности и вольных манер, которая постоянно ходит в мужском костюме, с сигарой в зубах, с кинжалом за поясом, беспрестанно меняет любовников и принимает участие в отвратительных оргиях литературной богемы.

На самом деле вот как описывает Жорж Санд того времени Гейне, относившийся без всякого пристрастия к великой писательнице: «Жорж Санд – красивая женщина, она даже замечательно красива. Как гений, проявляющийся в ее произведениях, так и лицо ее скорее можно назвать прекрасным, чем интересным: интересное – это есть всегда грациозное или остроумное отклонение от типа красоты, а черты Жорж Санд носят отпечаток греческой правильности. Их резкие очертания смягчаются сентиментальностью, набрасывающей на них покрывало грусти. Лоб невысок, и разделенные пробором волосы падают до плеч роскошными каштановыми локонами. Глаза ее несколько тусклы, по крайней мере, не блестящи, огонь их, вероятно, или затушен слезами, или перешел в ее произведения. У автора „Лелии“ тихие, кроткие глаза, не напоминающие ни Содому, ни Гоморры. У нее самый обыкновенный прямой нос – не эмансипированный орлиный, и не остроумный вздернутый носик. Вокруг ее губ играет обыкновенно добродушная улыбка, но рот ее не привлекателен: несколько отвислая нижняя губа указывает на чувственность. Подбородок толст, но хорошо очерчен. Плечи ее прекрасны, можно сказать великолепны, так же как ее маленькие руки и ноги. Голос

Жорж Санд так же мало блестящ, как и то, что она говорит. Она вовсе не обладает искрящимся esprit<sup>[4]</sup> своих соотечественниц, но не отличается и их назойливой болтливостью».

На излишнюю молчаливость Жорж Санд, на недостаток остроумия и блеска в ее беседах указывают многие современники, и сама она не раз жалуется на свою застенчивость и ненаходчивость в разговоре, на неумение в споре отстаивать свое мнение. Впрочем, ее молчаливость и принужденность пропадали, когда разговор заходил об интересовавшем ее предмете; тогда речь ее становилась оживленной, темные глаза ее вспыхивали, приобретали блеск и выразительность. Она производила обаятельное впечатление на окружавшую ее литературную молодежь; все юные и некоторые далеко не юные, вроде Делятуша, представители романтизма были более или менее влюблены в нее. Бюлоз, издатель «Revue des Deux Mondes», знал, что ее присутствие, ее влияние возбуждают поэтический жар его сотрудников, и всегда усиленно приглашал ее на свои литературные обеды.

На одном из этих обедов она встретила с молодым поэтом Альфредом Мюссе. Мюссе был в это время 23-летним красавцем, баловнем женщин, уже приобретшим славу как автор многих прелестных стихотворений и только что вышедшей в свет поэмы «Ролла». Наружность Жорж Санд сразу заинтересовала поэта: «Она очень хороша, – писал он о ней после этого первого свидания, – это женщина в моем вкусе, смуглая, бледная, с матовой кожей, отливающей бронзой, с удивительно большими глазами, точно у индианки. Я никогда не мог видеть таких лиц без внутреннего волнения. У нее физиономия довольно неподвижна, но когда она оживляется во время разговора, лицо ее приобретает замечательно независимое и гордое выражение. Несмотря на все это, она мне не особенно понравилась». Несколько дней спустя Мюссе не повторил бы этих последних слов: он страстно влюбился в Жорж Санд. Поклонение поэта было ей, конечно, очень приятно, но на бурные порывы его любви она не отвечала взаимностью и взамен пылкой страсти предлагала ему идеальную дружбу, нежность старшей сестры. Поэт отверг подобные отношения и старался заглушить страсть, предаваясь кутежам и необузданному веселью. Тогда Жорж Санд снова призвала его к себе и в конце концов согласилась на его желания. Вскоре весь литературный Париж заговорил о союзе «величайшего из французских поэтов в прозе и величайшего из современных поэтов в стихах», как их называл Гейне. Мюссе блаженствовал, Жорж Санд писала одному из своих друзей: «Я счастлива, очень счастлива! С каждым днем люблю я его все сильнее и

сильнее. Я замечаю, как с каждым днем исчезают разные мелкие недостатки, которые неприятно поражали меня; с каждым днем в новом блеске выступают те хорошие качества, которыми я в нем восхищалась. Это прежде всего милый, добрый человек! Его дружба для меня наслаждение, я горжусь тем, что он полюбил меня!» Безоблачное счастье влюбленных было непродолжительным. Их натуры, вкусы и привычки были слишком различны и не обещали долгого мирного совместного житья. С одной стороны, пылкий, нервный, вспыльчивый юноша, привыкший отдаваться всем своим влечениям, с другой – женщина 30 лет, по собственному признанию, отдававшаяся скорее по дружбе, чем по страстной любви, – женщина, только что завоевавшая свою самостоятельность и не согласная ни за что на свете поступиться ею. Мелкие ссоры и взаимные упреки начались очень скоро, но влюбленные объясняли их парижской обстановкой и решили отправиться в Италию, где ничто не помешает их счастью. Они провели некоторое время в Генуе, во Флоренции и, наконец, поселились в Венеции; но ни мягкое небо Италии, ни возможность уединиться от опошляющей обстановки и создать жизнь по своему вкусу – ничто не помогло им. Сойдясь с Мюссе, Жорж Санд мечтала внести более порядка в его жизнь, удержать его от кутежей и дурных знакомств, приучить к правильному труду. Может быть, в порыве страсти он и обещал подчиняться ей, но эта роль опекаемого и кротко наставляемого юноши очень скоро надоела ему. Ему нужна была любовница, которая вместе с ним наслаждалась бы жизнью, природой и искусством Италии, не думая ни о каких скучных обязанностях. Его возмущала та методичность, с какой подруга его каждый день усаживалась за свой письменный стол и исписывала целые страницы своим четким, твердым почерком. Он стал уходить от нее, заводить знакомства как в аристократическом и артистическом мире Венеции, так и среди низших слоев населения. В то же время он постоянно устраивал ей сцены ревности. На его горячие вспышки она отвечала ему холодными упреками, и это еще больше раздражало его. Оба мучились, тем более что оба продолжали любить друг друга. Отчасти под влиянием венецианского климата, неблагоприятного для иностранцев, а может быть, из-за постоянных волнений и бессонных ночей Мюссе заболел нервной горячкой. Несколько недель лежал он без памяти, и жизнь его висела на волоске. Жорж Санд ухаживала за ним с материнской нежностью, но при начале выздоровления он заметил между нею и лечившим его доктором-итальянцем более чем дружеские отношения. Она пыталась сначала рассеять его ревнивые подозрения, но в конце концов должна была сознаться, что он прав, что

действительно она увлеклась красивым, страстным итальянцем. Они расстались без озлобления, даже дружелюбно. Мюссе был грустен, но спокоен, Жорж Санд окружала его заботливой нежностью. Она проводила его до Местры и вернулась одна в Венецию.

Вот как она описывает эту разлуку в «Письмах путешественника»: «Когда мы расстались, я почувствовала гордость и счастье, что ты снова возвращен к жизни: я могла отчасти хвалиться тем, что своими заботами способствовала твоему выздоровлению. Я мечтала, что для тебя начнутся лучшие дни, более спокойная жизнь, что ты вернешься к друзьям юности и к славе. Но когда я распрощалась с тобой и возвращалась одна в гондоле, черной как гроб, я почувствовала, что моя душа связана с твоей. То больное тело, которое ветер качал на волнах лагуны, лишилось души. Меня ждали на ступенях Пьяццеты. „Мужайтесь!“ – сказал он мне. „Да, – отвечала я, – это вы мне уже говорили один раз! Мужайтесь! Мужайтесь! Вы мне это говорили в ту страшную ночь, когда он лежал умирающий на наших руках, когда мы думали, что настал его последний час. Теперь он спасен, и он покидает нас! Он вернется к своей матери, к своим друзьям, к своим удовольствиям, это все очень хорошо! Но думайте обо мне что хотите, я с грустью вспоминаю ту страшную ночь, когда его бледная голова лежала на моем плече, его холодная рука покоилась в моей! Тогда он еще был среди нас, а теперь его больше нет! Он ушел. Так должно было случиться, – мы сами этого захотели. Но его нет более с нами, и это приводит нас в отчаяние!“»

Развязка этой любовной истории дала еще больше пищи сплетне, чем ее начало. Небольшой круг близких знакомых Жорж Санд радовался, что она разорвала связь, которая ничего не могла ей принести, кроме горя и унижения. Многочисленные друзья и поклонники Мюссе обвиняли ее в кокетстве, в бессердечии, в коварстве. Мюссе вернулся в Париж, полуоправившись от болезни, исхудалый, постаревший на вид; они видели, что он страдает, что его сердцу и его самолюбию нанесена глубокая рана, что он снова прибегает к прежнему средству забыться – к кутежам и легким любовным связям, – они боялись за его жизнь и за его молодой талант.

Вернувшись осенью того же года в Париж, Жорж Санд сделала попытку восстановить прежние дружеские отношения с поэтом, но эта попытка кончилась полной неудачей. После нескольких бурных сцен взаимных упреков и угроз лишить себя жизни, они поняли, что не созданы друг для друга, и окончательно расстались.

Подробности всей этой грустной истории были известны только

самым близким друзьям обоих действовавших в ней лиц. Горечь, которая осталась после нее в сердце Мюссе, вылилась в нескольких прелестных стихотворениях. Не называя Жорж Санд по имени, он осыпает упреками страстно любимую женщину за ее измену, за ее вероломство, за ту неисцелимую рану, которую она нанесла его невинному сердцу. Со своей стороны Жорж Санд в «Письмах путешественника», начатых вскоре после разлуки с поэтом, посвящает ему несколько патетических страниц. «Ты был еще молод, – пишет она, – ты воображал, что жить и наслаждаться жизнью – одно и то же. Ты не знал своего величия и отдавал жизнь свою во власть страстей, которые должны были истерзать и погасить ее. Ты без разбора бросал в пропасть все драгоценные камни диадемы, которой Бог осенил чело твое: силу, красоту, гений. Своенравное дитя! Ты топтал ногами даже невинность твоего возраста! Но вот к тебе приблизился таинственный дух, охватил тебя, овладел тобою! Ты принужден был стать поэтом, и ты им стал против собственного желания! Напрасно отказывался ты от поклонения добродетели! Ты был призван свершать богослужения пред алтарем ее, играть небесные песни на золотой лире, белая одежда стыдливости более шла к твоему нежному телу, чем маска и погремушки дурачества. Но ты и не мог никогда забыть стремления к своей первой богине, ты возвращался к ней из всех тайников порока. Твой голос возвышался для проклятия и против воли произносил слова любви и призыва. Носясь между небом и землей, с любопытством заглядывая в первое, жадно стремясь ко второй, презирая славу, колеблющийся, страдающий, непостоянный – ты жил среди людей. Твои мысли были слишком широки, твои стремления слишком неизмеримы, твои слабые плечи сгибались под гнетом твоего гения. В несовершенных наслаждениях земли искал ты забыть то недостижимое, существование которого чувствовал. Иногда утомление подавляло тело твое, душа твоя расправляла свои крылья, ты вырывался из объятий безумных любовниц и стоял, вздыхая, перед „Святыми Девами“ Рафаэля. Наконец твоему одинокому благородному сердцу открылась дружба. Несчастный, гордый человек! Ты пытался верить другому как самому себе, ты надеялся найти покой и доверие в чужом сердце! Поток твоего собственного сердца успокоился и затих под более покойным небом, но в своем бурном течении он уже унес столько развалин, что его струи не могли очиститься». Более прямых указаний на взаимные отношения мы не находим в произведениях обоих писателей. Только много лет спустя, уже после смерти Мюссе, Жорж Санд издала роман «Elle et Lui» («Она и Он»), в котором лица, знакомые с закулисной стороной литературного мира, увидели изображение ее

собственной истории. Герой романа, молодой талантливый художник, страстно влюблен в художницу, которая относится к нему скорее с материнской нежностью, чем со страстью, и старается удерживать его от беспорядочной жизни и заставляет работать. Он сердится на ее спокойное, рассудочное отношение и к нему, и ко всему окружающему и ревнует ее к английскому лорду, много лет любившему ее молча.

В конце концов, чувствуя, что все ее усилия направить его на путь добродетели не удаются, измученная его требовательной, деспотической любовью, она оставляет его и скрывается в Германии со своим сыном, которому решает посвятить всю свою жизнь. На прощанье она пишет ему, что вполне простила ему все зло, какое он ей сделал, так как понимает, что его нельзя мерить мерой обыкновенных людей. «Ты всеми силами стремился к идеалу счастья, – говорит она, – и обладал им только в мечтах. Но, дитя мое, твои мечты – это и есть твоя действительность, твой талант, твоя жизнь! Разве ты не художник? Будь спокоен, Бог простит тебе, что ты не умел любить! Он обрек тебя на это ненасытное стремление для того, чтобы молодость твоя не была поглощена одной женщиной. Женщины будущего, те, которые станут от века до века созерцать твои произведения, – вот твои сестры и твои любовницы!»

Несмотря на эту попытку оправдать гениальностью художника его нравственные недостатки, главная цель романа была очевидна: художница изображалась безукоризненно добродетельной, и вся вина разрыва падала на художника. Друзья Мюссе возмутились. Его брат, Поль Мюссе, которому он рассказывал свою историю с Жорж Санд и показывал ее письма, в ответ на роман «Elle et Lui» выпустил роман «Lui et Elle», в котором та же история, также под псевдонимами, изображена совершенно с другой точки зрения: герой является страдающим от бессердечного кокетства героини и гибнущим вследствие ее вероломства. Объективной истины и беспристрастия, понятно, нечего ждать от произведения, написанного с целью защитить память нежно любимого брата, но для врагов Жорж Санд оно послужило новым оружием против нее. И до сих пор некоторые историки литературы склонны приписывать ей пагубное влияние на молодого поэта, хотя после разлуки с нею он прожил еще 24 года, имел много любовных историй и написал самые лучшие из своих произведений. «После разрыва оба они стали зрелыми художниками, – замечает Брандес. – Он – поэтом с горящим сердцем, она – сивиллой с пророческим красноречием. В пропасть, открывшуюся между ними, она бросила свою незрелость, свои тирады, свое безвкусие, свое мужское платье и стала вполне женщиной, вполне естественной. Он похоронил в

той же пропасти свой донжуанский костюм, свое вызывающее высокомерие, свою юношескую дерзость и стал настоящим человеком, цельным умом».

Оставшись в Италии без Мюссе, Жорж Санд с лихорадочным жаром принялась за литературную работу. Кроме нескольких менее значительных вещей, она написала в это время один из лучших своих по тонкости психологического анализа романов – «Жан» – и первые «Письма дяди». Эти «письма», под заглавием «Письма путешественника», выходили в течение многих лет через значительные промежутки времени и заключали описание путешествий, картины природы, разговоры со случайными, часто вымышленными, собеседниками, летучие заметки о людях и событиях современной действительности, о вопросах нравственности и философии. Первые из них, посвященные преимущественно Венеции, проникнуты тоскою больного сердца, в них слышится то горячая покорность судьбе, то жалобный крик измученной души.

## Глава VII

*Неприятности по возвращении во Францию.—Дети. – Проект путешествия. – Мишель де Бурже. – Общее возбуждение умов. – Апрельский процесс.*

По возвращении во Францию Жорж Санд пришлось нести тяжелые последствия своего сближения с Мюссе. Ее осуждали и за то, что она сошлась с ним, и за то, что оставила его. О ней ходили разные грязные сплетни, измышлялись инсинуации, обвинения в безнравственности и бессердечии. Итальянский доктор, с которым она сошлась во время болезни поэта, оказался полной посредственностью во всех отношениях, кроме физической красоты, и она очень скоро рассталась с ним. Измученная, оскорбленная, уехала она в свой любимый Ноган, надеясь найти там утешение. «После отсутствия в течение двух лет, показавшихся мне двумя веками, – пишет она, – я снова вернулась к своей старой жизни. Сердце мое истерзано и полно горечи. У меня сплин; душа моя устала; я чувствую, что умираю». В родном доме она не могла найти желанного отдыха. Разлука увеличила отчуждение между нею и мужем. В ее отсутствие он вел разгульную жизнь и не намеревался стеснять себя ради нее. Маленькая дочь ее, оставленная на руках прислуги, росла диким, необузданным ребенком; старшего сына ее, Мориса, отец поместил в парижскую коллегию, весь строй которой раздражал и угнетал нежную, артистическую натуру мальчика. Жорж Санд прожила некоторое время в деревне, пока продолжались каникулы Мориса, и затем снова приехала в Париж вместе с обоими детьми. Морис должен был по желанию отца вернуться в коллегию, а праздничные дни он проводил с матерью. Эти дни были блаженством для мальчика: он страстно любил мать, для него не было большего счастья, как сидеть с нею в ее маленькой квартирке, гулять с ней по улицам Парижа, слушать разговоры знакомых, заходивших к ней. Каждый раз прощанья с нею перед уходом в училище вызывали у него припадки чуть ли не истерики, приводившие ее в отчаяние. Ее маленькая дочь доставляла ей также немало хлопот: оказалось, что, несмотря на все свое желание, она не может оставлять ее при себе. Девочка, привыкшая к деревенскому простору и к деревенским товарищам, изнывала в тесной парижской квартирке, без сверстников, без шумных игр. Пришлось поместить ее пансионеркой в небольшую школу, где бы она росла с подругами своего возраста, под надзором опытной надзирательницы.

В течение года Жорж Санд несколько раз переезжала из Парижа в Ноган и обратно, нигде не находя покоя. «Эти переезды утомляли мое тело и душу, – пишет она. – Мне нигде не было хорошо. Я стремилась к спокойной жизни в Ногане, но там находила столько неприятностей, сердце мое так разрывалось от скрытых печалей, что я вдруг ощущала потребность уехать. Куда? Я и сама не знала, не хотела знать. Мне надобно было уехать далеко, как можно дальше, заставить забыть себя и самой забыть. Я чувствовала, что больна, смертельно больна. Я страдала бессонницей, мне по временам казалось, что я схожу с ума». Видя отчаянное положение, в каком она находилась, друзья настоятельно советовали ей предпринять какое-нибудь далекое путешествие. Они убеждали ее, что это будет полезнее не только для нее, но и для детей, что в ее отсутствие они гораздо скорее примирятся с училищной жизнью. После колебаний она наконец согласилась, сделала все распоряжения, чтобы обеспечить себе безбедное существование во время пути, поручила детей покровительству своих друзей, почти назначила день выезда, но тут случилось обстоятельство, перевернувшее все ее планы.

Для окончательного устройства своих денежных дел и обеспечения детей в случае своей смерти во время путешествия ей надобно было посоветоваться с адвокатом, и она обратилась к Мишелю де Бурже, видному представителю революционной партии того времени. Мишель только что прочел «Лелию», его поразили дух скептицизма и пессимизма, которым проникнута эта книга, его возмутило отсутствие определенных политических идеалов и стремлений у талантливого автора. Вместо того чтобы говорить с г-жой Дюдеван о денежных делах, он заговорил с Жорж Санд о ее произведении и от него перешел к общим политическим и социальным вопросам. Целый вечер и целую ночь проговорили они, не замечая, как летело время, и когда расстались утром, страстное красноречие «вдохновенного трибуна», как его называет Луи Блан, произвело резкий переворот в душе и мыслях увлекающейся женщины. Она вернулась в Ноган, бросив всякую мысль о путешествии. Мишель не ограничил своей пропаганды одним разговором; он развивал ей свои мысли в целом ряде писем, столь же пылких, столь же убедительных и красноречивых, какой была его речь, и через несколько недель она явилась в Париж, отбросив личную тоску и индифферентизм к окружающей жизни, готовая отдаться политической борьбе со всей страстью прозелитки.

Франция переживала тогда тревожное время. Конституционная монархия, при которой из 33 миллионов населения только 200 тысяч имели своих представителей, никого не удовлетворяла. Целая сеть тайных и

явных обществ охватила Францию: одни из них вербовали сторонников республиканского образа правления, готовых, в случае нужды, с оружием в руках на баррикадах защищать свои принципы; другие распространяли среди народа передовые идеи, поддерживали в них стремление к свободе. Рабочий вопрос волновал умы не меньше политического. Людовик-Филипп ничего не делал и не намеревался делать в пользу четвертого сословия, а между тем с развитием промышленности и фабричного производства бедность населения усиливалась, роль пролетариата быстро возрастала.

Беспреданно то там, то сям, то в Париже, то в провинциальных городах вспыхивали уличные беспорядки.

Из всех городов Франции после Парижа особенно сильно волновался Лион. В ноябре 1831 года рабочие шелковых фабрик взяли за оружие, и в течение трех дней на улицах города происходили кровопролитные стычки. Инсургенты оказались победителями, но из-за некоторых обстоятельств потеряли плоды этой победы... С тех пор отношения между ними и предпринимателями еще более обострились. Республиканская партия старалась воспользоваться этим, укрепиться в городе.

В начале 1834 года, вследствие понижения заработной платы, лионские рабочие устроили большую стачку, которая, однако, кончилась без серьезных последствий. Но когда издан был закон против ассоциаций, когда было арестовано несколько членов рабочего общества взаимопомощи, преследовавшего вполне мирные цели, граждане вознегодовали. В течение четырех дней Лион был театром кровопролитной уличной войны. Войска, не забывшие прежнего поражения, мстили за него своим недавним победителям. Пострадали не только инсургенты, но и многие мирные обыватели, не принимавшие участия в событиях. Одновременно с Лионом, с целью оказать ему поддержку, возникли беспорядки в Париже, затем в Люневиле, в Марселе, Сент-Этьене, Безансоне и Шалони. Тюрьмы были переполнены арестованными. Решено было судить их всех вместе как действовавших по одному плану, с одинаковой целью ниспровергнуть существующий по рядок. Обыкновенные суды признаны были неправомочными вынести приговор по этому делу, и ордонанс короля передал его на суд палаты пэров, облеченной властью судебной палаты.

Жорж Санд приехала в Париж и примкнула к революционной партии именно в то время, когда эта партия была взволнована ожиданиями процесса-монстра, как его прозвали современники. Подсудимые не ожидали ни снисходительного приговора, ни даже тщательного исследования степени виновности каждого из них; им этого и не было

нужно, они хотели одного – публично защищать свои убеждения, доказать превосходство своих политических принципов перед лицом пэров, перед лицом всей Франции. Они решили спасти не свои головы, а свои идеи. Чтобы придать особенный блеск процессу, они пригласили себе в защитники цвет демократической адвокатуры, таких ораторов, как Жюль Фавр, Мишель, Ледрю Роллен. Защита должна была вестись по заранее определенной программе и охватывать все стороны вопроса. Подсудимые и их защитники заранее распределили роли: один должен был развивать философскую точку зрения, другой – административную, третий – экономическую и т. д. При этом между ними часто вспыхивали теоретические разногласия, и горячие споры оглашали стены тюрьмы. Споры эти с еще большим жаром велись сторонниками заключенных, оставшимися на свободе и в особенности приглашенными ими защитниками. В своей автобиографии Жорж Санд рассказывает о тех бесконечных страстных прениях, которые вели ее новые друзья и на улице, и дома, и днем, и ночью. Сама она иногда принимала участие в этих спорах и всегда жадно прислушивалась к ним, хотя они приводили ее в смятение, даже в уныние. После горячей пропаганды Мишеля она была уверена, что все теоретические вопросы давно решены, что республиканская партия представляет из себя однородное целое, с близкими, вполне определенными идеалами и сходной, вполне продуманной программой действий. На деле оказывалось совсем иное: партия включала и евангелических социалистов, вроде Ламенне, и террористов, и чистых республиканцев, и сенсимонистов, и бабувистов. Среди массы разноречивых мнений, из которых ни одно не казалось ей безусловно справедливым, Жорж Санд растерялась до того, что готова была бросить все и снова вернуться к своему плану дальнего путешествия. Но Мишель со своим обычным красноречием сумел доказать ей, как несправедливо и малодушно бежать прочь, в уединение, только потому, что истина не может открыться сразу; кроме того, и окружающие события представляли слишком захватывающий интерес, чтобы можно было удалиться от «театра действий». Испугавшись того значения, какое подсудимые собирались придать процессу, палата пэров лишила их права приглашать себе защитников по собственному выбору и сама назначила им нескольких адвокатов. Такое противозаконное притеснение возмутило подсудимых в высшей степени. Многие из них решили совсем не защищаться и протестовать своим молчанием. Заседания суда начались среди страшного возбуждения умов и с самого первого дня сопровождались скандалами. Палата пэров отвечала постоянными отказами на самые законные

требования подсудимых, и эти отказы усиливали их раздражение. Они прерывали чтение обвинительного акта, громко требовали себе защитников, упрекали судей в нарушении установленных законов. Наконец, когда палата постановила выводить из зала суда подсудимых, которые нарушат порядок, и читать обвинительный акт в отсутствие их, они решили, что не станут присутствовать на заседаниях и таким образом отнимут у судилища всякую видимость законности. Их сторонники, оставшиеся на свободе, всеми силами старались поддерживать в собратях мужество и дух протеста. Радикальные газеты печатали сочувственные письма им с разных концов Франции, на улицах продавали их портреты и биографии, в пользу беднейших из них собирались деньги по подписке. Чтобы заявить о своей солидарности с ними и ободрить тех из них, которые начинали слабеть, защитники, избранные ими и отвергнутые судом, решили послать им коллективное письмо. Жорж Санд составила это письмо, но Мишель нашел, что оно слишком мягко, слишком сентиментально, и совершенно изменил его редакцию. «Надобно возбуждать их гнев и негодование, – говорил он, – чтобы одушевить их, я буду бранить пэров; пусть вся республиканская адвокатура будет замешана в этом деле».

Жорж Санд заметила ему, что республиканская адвокатура подпишется под ее письмом, но, пожалуй, поколеблется принять его редакцию. Предсказание ее оправдалось. Резкий тон письма Мишеля не понравился многим членам партии, и это письмо послужило яблоком раздора среди них. В конце концов, когда палата пэров постановила предать суду подписавших письмо, всю вину взяли на себя только двое: Треля как сообщивший текст письма в газеты и Мишель как его автор. Оба они были приговорены к тюремному заключению. Мишель заболел довольно серьезно, и Жорж Санд без его ведома выхлопотала у председателя судебной палаты, чтобы наказание ему было отсрочено до его выздоровления.

## Глава VIII

### *Развод. – Майорка. – Шопен. – Лукреция Флориани.*

После волнений, сопровождавших апрельское судилище, наступила реакция. Многие из видных вождей республиканской партии были приговорены к ссылке и к долговременному заключению; суровые преследования заставили отшатнуться от партии всех слабых, трусливых, нерешительных; теоретическая проверка убеждений показала многим, что они напрасно считали себя республиканцами. Со стороны могло показаться, что партия разбита и рассеяна, но на самом деле деятельность ее затихла на время; втайне шел процесс внутренней, организационной перестройки.

Жорж Санд пришлось от политических волнений перейти к более неприятным волнениям семейной жизни. Ее отношения с мужем становились с каждым годом более и более острыми, а между тем дети ее вступили в такой возраст, когда от них нельзя было скрывать семейные раздоры. К нравственным причинам несогласий примешивались финансовые. Дюдевану надоело жить в Ногане, хозяйство его шло плохо, а между тем ему не хотелось уступить имение жене и довольствоваться пенсией в 7 тысяч франков, которую она обязывалась выплачивать ему. Несколько раз составлял он письменные условия, определявшие их взаимоотношения, и постоянно сам же уничтожал документы. А между тем материальное положение Жорж Санд было незавидным: на те 3 тысячи франков, которые выдавал ей муж, она не могла жить в Париже с дочерью, содержание и воспитание которой требовало значительных расходов; литературный заработок ее был невелик и не мог считаться надежным, а проводить, как она мечтала раньше, несколько месяцев в году в Ногане стало для нее невыносимым при тех мелких оскорблениях и крупных неприятностях, какие она там встречала. Наконец после одной бурной сцены с мужем она решила последовать совету друзей и обратиться в суд с просьбой о разводе. Бракоразводный процесс тянулся около года. Дюдеван и его адвокат забросали грязью имя Жорж Санд, но в конце концов суд вынес приговор в ее пользу: брак был расторгнут, воспитание детей и опека над ними предоставлены ей, поместье Ноган признано ее собственностью. Дюдевану пришлось удовлетвориться тем, что он мог бы получить и без процесса: определенной частью доходов Ногана. Он потребовал права платить из этой части за Мориса, желая, чтобы мальчик непременно

продолжал образование в коллегии, и Жорж Санд скрепя сердце согласилась.

Тревоги и неприятности бракоразводного процесса расшатали нервы Жорж Санд; кроме того, ей хотелось удалить детей от сплетен и пересудов, обыкновенно сопровождающих распад семьи, и потому она с удовольствием приняла приглашение одного из своих друзей, знаменитого музыканта Листа, провести лето в Швейцарии. Она отправилась с детьми в Женеву, и оттуда они предпринимали экскурсии в горы и разные живописные места. В Женеве жила в это время графиня Д'Агу (Даниель Стерн), известная писательница и блестящая красавица, близость которой с Листом не составляла ни для кого тайны. Она самым приветливым образом приняла Жорж Санд, и между молодыми женщинами завязалась тесная дружба. По возвращении зимой в Париж Жорж Санд стала постоянной посетительницей салона графини, у которой собиралось блестящее общество литераторов, поэтов, артистов и в особенности музыкантов. Там Жорж Санд познакомилась с Эженом Сю, с Мицкевичем, а также с Шопеном, которому суждено было играть в течение нескольких лет важную роль в ее жизни. Шопену было в то время 28 лет, и он находился в апогее своей славы. Баловень женщин, любимый гость парижских салонов, в которых он царил и как гениальный музыкант, и как веселый, остроумный собеседник, он с первого свидания заинтересовал Жорж Санд, Она заслушивалась его музыкой и восторженно выразила ему свое восхищение. На Шопена романистка произвела сначала не особенно благоприятное впечатление. Черты лица ее показались ему грубыми, фигура – слишком массивною, манеры – слишком резкими; ей не хватало той женственной грации, того изящества, которые он высоко ценил в особах прекрасного пола.

Впрочем, это критическое отношение продолжалось недолго. Уехав на лето в Ноган, Жорж Санд пригласила его туда вместе с графиней Д'Агу и Листом. Шопен принял приглашение, и вскоре страстная любовь сменила его прежнюю антипатию.

Между тем уступка, которую Жорж Санд сделала мужу относительно воспитания сына, послужила для нее источником больших огорчений. Слабый, нервный мальчик никак не мог привыкнуть к жизни в интернате. Он хирел, часто хворал, и, наконец, доктора нашли у него симптомы серьезной сердечной болезни. Встревоженная мать хотела немедленно взять его из коллегии и организовать ему домашнее воспитание. Дюдеван не соглашался на это, считая все это материнским баловством. Только в 1838 году удалось наконец Жорж Санд окончательно устроить свои

семейные дела. После смерти матери она получила в свое распоряжение тот капитал, рента с которого шла на содержание Софьи Дюдеван, и могла предложить мужу сразу 50 тысяч франков, за которые он согласился отказаться от всяких притязаний и на воспитание детей, и на часть доходов с Ногана.

Освободившись от «обязательных» отношений с мужем, Жорж Санд окончательно взяла сына из коллегии и решила, чтобы укрепить его здоровье, прожить с ним зиму на Майорке. Здоровье Шопена, всегда очень слабое, расстроилось в последнее время, и доктора советовали ему отдохнуть от парижской жизни где-нибудь на юге. Он воспользовался этим, чтобы отправиться вместе с Жорж Санд. Прожив несколько дней в Пальме, главном городе острова, они поселились в старинном полуразвалившемся монастыре Вальдемоса, в трех комнатах, отделенных от остальных обветшалых помещений темным коридором. Окна их выходили в роскошный цветник, обсаженный апельсинами, лимонами, гранатами, пальмами и кипарисами, а за ним тянулся громадный запущенный монастырский сад. Место было совершенно уединенное, до ближайшего села надобно было пройти несколько миль. Своему пребыванию на острове Жорж Санд посвятила целую книгу под названием «Зима на юге Европы» («Un hiver dans le midi de l'Europe»). В этой книге описывается дикая и живописная природа острова и жизнь маленькой французской колонии. Монастырь со своими массивными стенами, развалинами, длинными коридорами и маленькими кельями представлял весьма мало удобств для цивилизованной жизни, там не было даже необходимой мебели, и Жорж Санд пришлось потратить много остроумия и изобретательности, чтобы придать старым кельям жилой и даже комфортабельный вид. Вместо ковров она разостлала на полу козьи шкуры, дверь задрапировала своею шалью, вместо книжного шкафа употребила древнее готическое кресло и т. п. «Порядочную» прислугу трудно было залучить в эту дикую местность, и Жорж Санд часто приходилось самой готовить обед для всей семьи. Это не тяготило ее: оригинальность и романтичность обстановки так увлекали ее, что ради них она готова была перенести всякие неудобства. Дети также нисколько не жаловались на отсутствие привычного комфорта. Здоровье Мориса быстро поправлялось, и он вполне наслаждался красотами действительно чудной природы, предпринимая длинные прогулки вместе с матерью и сестрою. Даже дурная погода не останавливала их, и часто они возвращались домой вымокшие до костей, но бодрые и оживленные.

Шопен относился совсем иначе к жизни на острове. Сначала он, подобно своей спутнице, был очарован красотой южной природы и

романтической оригинальностью их жилища. Но вскоре, вследствие наступившей дурной погоды, болезнь его обострилась, у него появились признаки чахотки. Жорж Санд созвала лучших врачей острова и окружила больного самым нежным уходом. Острые припадки болезни миновали, но осталась слабость, нервность, подавленное настроение. Отсутствие удобной мебели и простая, неискусно приготовленная пища возмущали его; он не выносил уединения; древнее монастырское здание представлялось ему населенным духами и привидениями умерших монахов; темные коридоры и мрачные залы наполняли его ужасом. «Возвращаясь вместе с детьми с прогулок по развалинам монастыря, – рассказывает Жорж Санд, – я находила его в 10 часов вечера за фортепиано бледным, с блуждающими глазами. Он не сразу узнавал нас, потом делал над собою усилие, чтобы рассмеяться и играл нам те чудные вещи, которые сочинил без нас, или, лучше сказать, выражал в музыке те страшные, раздирающие мысли, которые овладевали им в эти часы уединения, тоски и ужаса». В Майорке Шопен написал свои знаменитые прелюдии, а Жорж Санд начала «Консуэло». Но для литературной работы писательнице оставалось слишком мало времени. Занятия с детьми отнимали у нее несколько часов в день, ей приходилось помогать прислуге в домашних работах, а Шопен не выносил уединения и беспрестанно звал ее к себе. Даже ночью его часто мучили кошмары и тяжелые сны, ей приходилось успокаивать и развлекать его, забывая о собственном отдыхе.

Климат Майорки оказался далеко не из приятных в зимние месяцы. Проливной дождь заливал все дороги и беспощадно барабанил по крышам и окнам; пронзительный ветер жалобно завывал в трубах и расщелинах монастырских развалин. Настроение Шопена становилось все хуже и хуже, мрачное предчувствие смерти мучило его.

Необходимо было как можно скорей оставить негостеприимный остров. Некоторое время буря задерживала корабли возле пристани, но как только море утихло, маленькая колония отправилась в Марсель. Там Жорж Санд опять пришлось ухаживать за больным Шопеном, и только в мае состояние его здоровья позволило им вернуться в Ноган. «Перспектива совместной семейной жизни с этим новым другом смущала меня сначала, – говорит по этому поводу Жорж Санд. – Мне стало страшно при мысли о новой обязанности, открывшейся передо мной. Страсть не ослепляла меня. Я чувствовала к артисту какое-то материнское обожание, очень живое и сильное, но которое не могло соперничать с моей любовью к детям. Я была еще настолько молода, что мне могла предстоять борьба с любовью, со страстью, и эта возможность пугала меня. Я решила никогда больше не

поддаваться чувству, которое отвлекло бы меня от детей; нежная дружба, внушаемая мне Шопеном, казалась мне менее опасною; по зрелом размышлении я нашла даже, что она может предохранить меня от увлечений, которых мне не хотелось испытывать». Эти слова Жорж Санд указывают, что в ее отношении к Шопену было больше спокойной нежности, чем страсти. Она намеревалась даже остаться на всю зиму в Ногане с детьми, предоставив ему одному уехать в Париж. «Если бы мой план удался, – пишет она, – Шопен избежал бы опасности, которая грозила ему и о которой я не подозревала. Его любовь ко мне была еще не особенно сильна и исключительна. Он часто рассказывал мне о своей романической любви к одной польке, о двух предметах своих увлечений в Париже и в особенности о своей матери; она была его единственною страстью в жизни, а между тем он привык жить вдали от нее. Принужденный расстаться со мной ради своей профессии, которая составляла и его славу, он первые дни поплакал, поскучал бы, а затем через полгода парижской жизни вернулся бы к своим привычкам изящного общества и светских успехов». К сожалению для талантливого пианиста, случилось иначе: Жорж Санд скоро увидела, что не в состоянии, живя в деревне, давать детям необходимое образование, и переехала в Париж. Там, при постоянных свиданиях, страсть Шопена развилась до болезненных размеров. Сначала он поселился отдельно от своей приятельницы, но вскоре оказалось, что он не мог жить без нее. Он то сам приходил к ней, часто полубольной, то требовал ее к себе по несколько раз в день. Это было крайне неудобно для них обоих, и они решили устроиться вместе. Они заняли два флигеля рядом с домом, где жила семья Марлиани, испанского консула в Париже. Чтобы попасть из одного дома в другой, надобно было пройти только небольшой двор, усыпанный песком: г-жа Марлиани вела общее хозяйство, они обедали все вместе. Шопен оставался в своей изящно убранной квартире, только пока давал уроки, все же остальное время проводил или у Жорж Санд, или вместе с нею в салоне консульши, собиравшей у себя многочисленное и очень интересное общество. Под влиянием любви к Жорж Санд, он стал реже посещать аристократические салоны и проводил вечера в обществе артистов и писателей, собиравшихся у нее.

Целых восемь лет продолжалась эта связь. Каждое лето Шопен гостил у Жорж Санд в деревне, там он усердно занимался своими сочинениями, и лучшие произведения его написаны именно в Ногане. «Наша история, – пишет Жорж Санд, – не походила на роман; основа наших отношений была так проста и серьезна, что мы никогда не ссорились из-за несходства характеров. Не разделяя ни его вкусов, ни его идей, кроме идей об

искусстве, ни его политических убеждений, ни его взглядов на действительность, я не стремилась влиять на какое-либо изменение его личности. Я уважала индивидуальность, как уважала индивидуальность тех из моих друзей, с которыми пути мои расходились. С другой стороны, Шопен дарил мне дружбу, – могу сказать, он достаивал меня такой дружбы, какую не пользовался никто другой. Чуждый моим занятиям, моим стремлениям, моим убеждениям, он, вероятно, не составлял себе никаких иллюзий на мой счет, потому что его уважение ко мне никогда не уменьшалось. Мы с ним никогда ни в чем не упрекали друг друга, никогда, кроме одного раза, увы, первого и последнего».

Причиной ссоры были недружелюбные отношения, возникшие между Шопеном и Морисом, сыном Жорж Санд. Юноша не умел снисходительно относиться к припадкам нервной раздражительности больного артиста, а тот, со своей стороны, нередко оскорблял его колкостями и насмешками. Между ними часто происходили столкновения, которые принимали все более и более острый характер. Наконец Морис объявил, что не может больше жить дома. Жорж Санд пришлось выбирать между другом и сыном. Она стала на сторону сына, Шопен обиделся, упрекнул ее в холодности; они расстались, и расстались навсегда.

Так объясняет причину разрыва Жорж Санд в своей автобиографии. Может быть, ссора с Морисом была действительно последнею каплею, переполнившей чашу, но на самом деле разрыв был неизбежен и подготавливался постепенно. Натуры столь противоположные не могли быть счастливы вместе. Пока любовь была свежа в сердце Жорж Санд, она ухаживала за больным артистом, терпеливо переносила его причуды, посвящала ему большую часть своего времени. Но эта роль самоотверженной и кроткой подруги была не по характеру энергичной, деятельной женщины. Ее тянуло и к любимой работе, и в общество людей, разделявших ее вкусы и убеждения; она стала часто невнимательно относиться к своему «malade ordinaire» (обыкновенному больному), как в шутку называл себя сам Шопен. Шопен оскорблялся этим невниманием; его огорчало и раздражало, что любимая женщина не вполне отдается ему, что у нее есть свой собственный мир, свой круг интересов, чуждый ему. Он ревновал ее не только к новым друзьям, но и к ее прошлому. Взаимных упреков, ссор между ними не было, но оба они страдали, особенно Шопен, который страшно мучился и не находил в себе сил порвать с ней.

После ссоры, описанной Жорж Санд, они больше не виделись. Жорж Санд была в это время поглощена политической деятельностью, а Шопен, расстроенный, больной, уехал по совету друзей в Англию. Он пробыл там

больше года и вернулся в Париж полуумирающим. Его любовь к Жорж Санд не исчезла, несмотря на разлуку и болезнь. За несколько дней до смерти он с тоской повторял: «Она обещала, что не даст мне умереть без нее, что я умру на ее руках!» Жорж Санд приходила навестить его, но его друзья, боясь, что волнение пагубно отзовется на нем, не допустили ее к нему. Жорж Санд обвиняли, что она в своем романе «Лукреция Флориани» под видом принца Кароля показала Шопена в весьма непривлекательном виде; но она с негодованием отвергла это обвинение. Роман «Лукреция Флориани» интересен в другом отношении: в нем Жорж Санд дает как бы ключ к пониманию одной стороны своей собственной природы и пытается защититься от тех упреков в безнравственности, которые сыпались на нее вследствие ее любовных историй. В лице героини романа Лукреции Флориани она с необыкновенным мастерством изображает женщину, которая беспрестанно меняет любовников и, несмотря на это, не только не падает в нравственном отношении, но даже сохраняет душевное целомудрие. Любовь составляла потребность ее здоровой, богато одаренной природы, но с мужчинами, которые ей не нравились, она была холодна, как лед, и в те промежутки, когда сердце ее бывало свободно, у нее не являлось никаких чувственных желаний; мысли ее были вполне чисты. «Многие думают, что в основе любви всегда лежит чувственность, – говорит она, – это неправда. Любовь прежде всего овладевает головой через посредство воображения, затем уже пронизывает все наше существо, и мы любим мужчину, которому отдались, как Бога, как свое дитя, как брата, как мужа, как всё, что может любить женщина». Автор объясняет, каким образом Лукреция могла отдаваться все новым и новым любовным увлечениям. «Последняя любовь представляется таким богатым натурам всегда первой. То влечение, которое она чувствовала к другим мужчинам, было кратковременным. Они не умели его поддерживать и подогревать. Любовь переживала разочарование; начинался период великодушия, заботливости, сострадания, преданности, период материнского чувства. Обыкновенно она была счастлива и очарована какою-нибудь неделю, не больше, а ее преданность любимому человеку продолжалась иногда год или два после того, как она сознавала, что ее любовь была нелепа и недостойна». Вследствие своей независимости и своих материнских инстинктов Лукреция всегда чувствовала влечение к слабым мужчинам. Она не переносила мысли, что кто-нибудь будет покровительствовать ей, служить ей опорой.

Подобно Жорж Санд, она была горячо любящей матерью. «Питая материнские чувства к своим любовникам, она не переставала нежно

любить детей своих; эти оба чувства постоянно боролись в ее сердце, и борьба кончалась уничтожением менее прочной страсти: дети всегда одерживали победу». «Я никогда не любила двух мужчин в одно и то же время, – оправдывается Лукреция, – никогда, даже в мыслях, не принадлежала двум зараз. Когда я переставала любить, я не обманывала, я просто прерывала все отношения. Правда, я много раз клялась в вечной любви, но я это делала вполне добро совестно. Я каждый раз любила сильно и полно, я твердо верила, что это моя первая и последняя любовь. Вы не можете считать меня честной женщиной, но я твердо уверена, что я честная. Я отдаю свою жизнь на суд света, я не нахожу, что он вообще судит неправильно, но относительно меня его приговор несправедлив».

## Глава IX

*Разнообразные обязанности. – Парижские знакомые. – Провинциальная газета. – Социалистические романы. – Новый журнал.*

Вот как сама Жорж Санд описывает свою жизнь в первые годы после развода с мужем:

«Я должна была исполнять одновременно обязанности и матери, и отца. Это вещь очень хлопотливая, когда наследственная собственность невелика и когда приходится заниматься таким всепоглощающим делом, как писание для публики. Я не знаю, что случилось бы со мною, если бы я не имела способности работать по ночам и если бы я не любила свое искусство. Я не скажу, что оно служило мне утешением, но оно развлекало меня в дни горя, оно отгоняло от меня многие заботы. Но как разнообразны и противоположны были те дела, какими мне приходилось заниматься! Служение искусству, забота о нравственном и физическом воспитании детей, мелочи домашней жизни, обязанности дружбы, помощь неимущим, услуги знакомым. При этом я не обладала таким счастливым организмом, который способен всё схватывать без усилий и позволяет без утомления переходить от постели больного ребенка к юридическому совещанию и от главы романа к проверке счета. В течение нескольких лет я спала всего по 4 часа в сутки; в течение многих других лет я боролась с такою страшною мигренью, что часто падала без чувств на свою работу, и все-таки дела мои шли далеко не так хорошо, как бы мне хотелось. Это приводило меня к заключению, что брак должен быть по возможности нерасторжим; чтобы провести хрупкую ладью семейного счастья по бурному морю нашей общественной жизни, необходимо сотрудничество двух людей – мужчины и женщины – отца и матери, которые разделяли бы между собой обязанности сообразно со своими способностями. Но неразрывность брака возможна только добровольная, а для этого необходимо признание равноправности мужчины и женщины».

Все разнообразные дела, о которых говорит Жорж Санд, не мешали ей иметь обширный и разнообразный круг знакомства, как в литературном и артистическом мире, так и среди политических деятелей. Луи Блан, Годафруа Кавеньян, Анри Мартен, Этьен Араго, Сен-Бёв принадлежали к числу ее постоянных посетителей; она была хорошо знакома с Мицкевичем, Гейне, Сю, Дюма, Эдгаром Кине, с семьей Виардо, певцом Лаблашем и другими.

Выйдя под влиянием Мишеля де Бурже из сферы чисто личной жизни, она уже не могла замкнуться в ней одной и принимала самое горячее участие во всех политических и социальных движениях, которые волновали в то время умы Франции. В конце 30-х и начале 40-х годов два человека имели на нее особенно сильное влияние: Ламенне и Пьер Перу. Ламенне – «эта смесь силы и нежности, бурного порыва и кроткого милосердия, пламенного увлечения и покорности», как его характеризует Луи Блан, – отвечал тому «стремлению к божественному», которое не покидало ее всю жизнь. Пьер Перу посвящал ее в учение социалистов, являлся ее руководителем при разрешении мучивших ее вопросов о причинах современных общественных бедствий и о средствах к устройству лучшего будущего, развивал перед ней свои теории создания нового строя общества на началах полного равенства.

Влияние социалистических идей, которые постоянно обсуждались вокруг нее и сильно занимали ее в это время, отразилось и на ее литературных работах. С 1843 года она принимала участие в издании республиканской провинциальной газеты «L'Eclaireur de l'Indre», одним из сотрудников которой был Ламартин. В этой газете она поместила несколько статей, изображающих бедственное положение как городских, так и сельских рабочих. Между 1840—1848 гг. она написала целый ряд романов («Le compagnon du tour de France», «Consuelo», «Le meunier d'Angibault», «Le péché de M. Antoine»<sup>[5]</sup> и пр.), в которых нападает, на капитализм и на дух наживы, охвативший Францию под властью буржуазной монархии, затрагивает вопрос о кооперативной работе и представляет рабочих в идеализированном свете. Вот что сама она говорит об этой идеализации в предисловии к одному из своих романов: «Желая представить тип работника, настолько развитого, насколько это возможно в наше время, я должна была допустить, что он знаком с современным строем общества и мечтает о лучшем будущем. Между тем в некоторых кругах поднялся крик, что это невозможно, что я преувеличиваю, льщу народу, хочу его прикрасить. А если бы и так? Предположим, что мой тип идеализован, но почему же я не имею права сделать для людей из народа то, что мне позволяли делать для людей других сословий? Почему не могла я нарисовать такого образа, которому все добрые и разумные рабочие захотели бы подражать? С каких пор роман стал исключительно картиной того, что есть, картиной жесткой и холодной действительности в жизни людей и современных вещей? Я знаю, что подобные картины возможны, и Бальзак – талант, перед которым я преклоняюсь, – дал нам „Человеческую комедию“ („Comédie humaine“). Но мы с ним смотрим на вещи с разных

точек зрения. „Вы хотите и умеете изображать человека таким, каким он представляется вашим глазам, – говорила я ему, – хорошо! А я стремлюсь изобразить человека таким, каким мне хочется, чтобы он был, каким, по моему мнению, он должен быть.“» Исходя из этой точки зрения, Жорж Санд не жалеет светлых красок для изображения «детей народа». В романе «Le compagnon de tour de France» она описывает союзы французских рабочих, имевшие нечто общее со средневековыми гильдиями, тайные общества рабочих, основанные едва ли не в средние века, с таинственными обрядами, наподобие масонских лож. Герой романа Пьер Гюгенен, идеальный работник-художник, один из деятельных членов союза плотников, понимает, что подобная форма устройства быта рабочих устарела, что соперничество союзов влечет за собой массу неудобств, и ставит задачей своей жизни отыскать другую форму, в основе которой лежала бы общая любовь, общий мир. Роман представляет две истории любви: с одной стороны, исключительно чувственную страсть товарища Пьера, резчика по дереву, и легкомысленной маркизы, кончающуюся взаимным разочарованием и раскаянием; с другой – высокую, чистую, идеальную любовь Пьера Гюгенена и молодой графини Изелы Вильпре. Изела, воспитанная на идеях Жан-Жака Руссо своим дедом, активным либералом, ораторствующим о всеобщем братстве и равноправии людей, мечтает выйти замуж за крестьянина, чтобы слиться с народом, так как в одном народе – правда и настоящая, безыскусная жизнь. Она влюбляется в Пьера Гюгенена и, заметя с его стороны взаимность, прямо и открыто признается ему в своих чувствах. Признание любимой девушки приводит Гюгенена в восторг, но этот восторг быстро исчезает. Вместе с рукой Изелы он должен получить ее богатство, а это богатство пугает его: пользоваться им для эгоистических наслаждений значило бы изменить всем своим принципам, всем своим идеалам; употреблять его на благо другим как средство для отыскания великой истины, которой он решил посвятить всю свою жизнь, – он чувствовал, что для этого ему не хватает необходимых знаний и способностей. И вот он отказывается от личного счастья, от любви и с растерзанным сердцем возвращается к своим столярным работам, к жизни простого рабочего.

Это отречение от богатства как от источника нравственной порчи является главным мотивом и другого романа Жорж Санд – «Le meunier d'Angibault». Там герой рассказа, сын кулака, нажившего себе состояние всякими неправдами, после смерти отца раздает богатство тем лицам, которые наиболее пострадали от скардности старика, и решает жить, зарабатывая собственным трудом. Он случайно встречается с молодой

женщиной из высшего круга, они влюбляются друг в друга, но он отказывается жениться на ней, считая ее богатой. Они расстаются с болью в сердце и соединяются только после того, когда оказывается, что Марселла разорена, что она так же бедна, как и ее возлюбленный. Подчеркивая в своих героях такое презрение к земным благам, Жорж Санд, очевидно, не вполне уверена, что их образ действий должен считаться наилучшим. По крайней мере, Генрих и Марселла находят строгого критика в лице бесхитростного, честного крестьянина, мельника Анжибо. Выслушав длинную тираду Генриха в защиту бедности, он с иронией замечает: «Что это за люди, которые говорят: если бы я был богат, я стал бы дрянью, и потому я очень рад, что беден. Да разве нельзя быть богатым и в то же время хорошим человеком? Если бы вы хоть просто раздавали хлеб голодным, это все-таки было бы хорошо, и богатство в ваших руках принесло бы больше пользы, чем в руках какого-нибудь хищника». Затем он, со своей стороны, высказывает твердое желание разбогатеть и уверенность, что богатство его не испортит, что он найдет в своем уме то, чего нет в книгах: секрет своим влиянием творить правду и с помощью своего богатства делать людей счастливыми. Апостолы были такими же простыми людьми, как он, а между тем с Божией помощью оказались умнее всех мудрецов и жрецов своего времени. «О народ! Ты пророчествуешь! – восклицает Генрих, сжимая мельника в объятиях. – Для тебя Бог в самом деле сотворит чудо, и Дух Божий снизойдет на тебя! Ты не знаешь отчаяния, не знаешь сомнения! Ты сознаешь, что сердце сильнее знания, ты чувствуешь свою силу, свою любовь, ты рассчитываешь на вдохновение! Вот почему я иду среди бедных и простых искать веры и энергии, которые потерял, воспитавшись среди богатых!»

В романе «Le réché de M. Antoine» («Грех господина Антуана») перед нами алчный, корыстный промышленник, наживший миллионы, стремящийся к еще большей наживе и встречающий противодействие в лице своего единственного сына Эмиля. В борьбе против отца Эмиль опирается, с одной стороны, на разорившегося дворянина Антуана, который в молодости свершил тяжелый проступок, затем раскаялся, изменил образ жизни, занялся простым земледельческим трудом и стал вполне своим в крестьянской среде; с другой – на плотника Жана, лесного бродягу, браконьера, порубщика чужих лесов, завсегда тюрмы, открыто восстающего против всяких эксплуататоров. Роман заканчивается попыткой Эмиля устроить вместе со своими друзьями жизнь на кооперативных началах.

Роман «Consuelo» («Консуэло»), вместе с продолжением его «La

comtesse de Rudolstadt» («Графиня Рудольштадтская»), можно назвать самым романтичным из романов Жорж Санд. В нем есть подземные ходы и полуразрушенные замки, и мрачные тени, бродящие по коридорам дворцов, и каталептики, обладающие даром предвиденья, и заживо погребенные. Автор переносит действие в самые разнообразные сферы жизни; он вводит читателя во дворцы и в тюрьмы, в мрачный замок богемского графа и на оживленные площади Венеции, за кулисы театра и на таинственные заседания розенкрейцеров. Действующие лица принадлежат к различным слоям общества, начиная с Фридриха II и Марии Терезии до бедной цыганки, добывающей себе пропитание пением на улице. Но среди всех разнообразных картин перипетий романа красной нитью проходит демократическая тенденция автора. Героиня романа, дочь цыганки, уличная певица, остается идеально чистой жрицей искусства и гордой плебейкой, несмотря на все искушения чувственности, корысти и тщеславия, которые ее подстерегают. Верная своим убеждениям, она отвергает любовь и титул графа Альберта, но бросается в его объятия, когда он, воскресший из своего летаргического сна, является лишенным титула и богатства, но в то же время энергичным политическим деятелем, членом таинственного братства розенкрейцеров.

Из этого краткого очерка главных социалистических романов Жорж Санд видно, что она не имела определенного плана будущего строя общества. Перед нею носился туманный идеал общей любви, общего братства и равенства, уничтожения всех привилегий, общего, совместного труда всех на благо всего человечества; но пути для достижения этого идеала оставались для нее неясными. Потому-то герои ее ограничиваются или отречением от земных благ, или темными надеждами на лучшее будущее. Тем не менее тенденция, явно проглядывающая в этих произведениях, была встречена многими крайне недружелюбно. «На меня, – пишет она, – посыпались проклятия двух каст – дворянства и буржуазии, не говоря о духовенстве, которое в своих журналах уверяло, что я для изучения нравов рабочих хожу каждое воскресенье в предместье Парижа и возвращаюсь оттуда пьяная вместе с Пьером Перу».

После Пьера Гюгенена «Revue des Deux Mondes», в котором она сотрудничала с самого начала своей литературной деятельности, закрыл для нее свои столбцы. Тогда она в компании с Пьером Перу, Виардо, Ламенне и Мицкевичем основала новый журнал, «Revue Indépendante», в котором и помещала свои последующие романы.

## Глава X

*Революция 1848 года. – Редактирование официальной газеты. – Реакция в провинции и в Париже. – Июньские дни. – Разочарование и уныние.*

Революция 1848 года застала Жорж Санд в Париже. Принадлежа к кругу вожakov республиканской партии, она переживала вместе с ними все волнения, ознаменовавшие последние месяцы Июльской монархии, и вместе с ними торжествовала победу февральских дней. Упоение этой победы охватило ее так же, как всю республиканскую партию Франции, всю массу парижского населения. Временное правительство составилось из всем известных защитников свободы, в своих речах и своих сочинениях громивших произвол; слова «свобода, равенство, братство» появились на всех официальных бумагах, на фронтонах всех общественных зданий.

Ледрю Роллен, получивший во Временном правительстве портфель министра внутренних дел, поручил Жорж Санд редактирование официальной газеты «Bulletin de la Republique». Она с жаром взялась за это дело и с полной искренностью поддерживала в своих статьях совершившийся переворот и республиканскую форму правления. В ее понятиях эта форма неизбежно соединялась с проведением в жизнь различных мер по улучшению нравственного и материального положения рабочего класса, по урегулированию отношений между трудом и капиталом, по облегчению условий труда. Она смело возвещала, что, покончив с прежним режимом, провозгласив себя республикой, Франция пойдет твердым шагом по пути соответствующих реформ. И правительство, органом которого служила ее газета, не опровергало ее; напротив, оно само декретировало «право на труд», т. е. признало, что государство обязано предоставлять работу всякому нуждающемуся в ней. В Люксембурге открыта была под председательством Луи Блана «правительственная комиссия для рабочих», и члены ее, избранные по жребию из рабочих разных специальностей, должны были вырабатывать и обсуждать законы для внесения их в будущее Национальное собрание.

Вследствие промышленного кризиса, обыкновенно сопровождающего всякий государственный переворот, множество рабочих осталось без заработка, и, чтобы дать им средства к жизни, правительство организовало в огромных размерах общественные работы, так называемые Ateliers Nationaux (общественные мастерские), где работало более 100 тысяч

человек. Вся эта видимость легко могла ослеплять недалёковидных идеалистов и внушать им радужные надежды на будущее. Но подобное ослепление не могло быть продолжительным. Партии, соединившиеся для борьбы с общим врагом, одержав победу, разделились, обособились, стали враждовать.

Умеренные республиканцы, опиравшиеся на народ для уничтожения прежнего режима, по своему общественному положению и своим симпатиям не чувствовали склонности к экономическим реформам. Мечты и желания более радикальных партий и фракций пугали их, были им в высшей степени антипатичны. Став во главе правления, они первое время считали необходимым льстить победителям февральских дней, успокаивать их ложными надеждами и обещаниями. Но в этих обещаниях не было ни малейшей искренности, ни одно мероприятие Временного правительства не обнаруживало серьёзного намерения улучшить положение рабочего класса. Парижские рабочие замечали это и волновались...

Разногласие Жорж Санд с большинством членов Временного правительства ясно выразилось в тех редакционных статьях, которые она помещала в «Bulletin de la République» перед выборами в Национальное собрание. В этих статьях она самым резким образом настаивала на необходимости экономических реформ и убеждала избирателей подавать голоса только за тех депутатов, которые искренно и энергично пойдут по пути этих реформ. «Семнадцать лет лжи, – говорила она, – поставили торжеству истины такие препятствия, которые невозможно уничтожить одним дуновением. Если выборы не будут выражением общественной истины, а послужат только упрочению победы одной касты, тогда они приведут не к спасению, а к гибели республики. В таком случае для народа останется одно только средство спасения: новое заявление его воли, которое остановит действия фальшивого народного представительства».

В этих словах усмотрен был призыв к новому восстанию народных масс, весьма неудобный на страницах официозного органа, и Ледрю Роллен поспешил снять с себя всякую ответственность за статью.

Выборы в Национальное собрание дали перевес партии умеренных республиканцев, и в исполнительной комиссии, заменившей Временное правительство, уже не было места для социалистов. Редактирование официозной газеты было отнято у Жорж Санд, ходили даже слухи, что ее намерены арестовать; но она смеялась над опасениями друзей и, собираясь ехать летом в Ноган, нарочно прожила несколько лишних дней в Париже, чтобы не иметь вида человека, спасающегося от несуществующих преследований.

В Берри она нашла реакцию в полном разгаре, и вот какими яркими красками описывает она ее в письме к одному из своих друзей: «Покидая великий очаг политических волнений, я надеялась найти нравственный покой в глухой деревне, но я ошиблась в расчете и сама бросилась в пасть льву. Здесь, в этом Берри, таком романтичном, кротком, добром и спокойном, в этой стране, которую я так люблю и где я достаточно доказала беднякам, что понимаю свои обязанности относительно их, здесь на меня смотрят как на врага рода человеческого и считают меня виновной в том, что республика не сдержала своих обещаний. Я долго не могла понять, как это я умудрилась, сама того не подозревая, играть такую важную роль, но мне все объяснили и доказали как дважды два – четыре.

Во-первых, я принимаю участие в заговорах отвратительного старика, которого в Париже называют „Отец Коммунизм“ и который мешает буржуазии продолжать осыпать народ ласками и благодеяниями. Этот негодяй, узнав, что народ страдает от голода, придумал для уменьшения общественных бедствий убить всех детей моложе трех лет и всех стариков старше 60 лет; кроме того, он хочет, чтобы люди не заключали браков, а жили по-скотски. Затем, так как я ученица „Отца Коммунизма“, то я выпросила себе у герцога Роллена все виноградники, все земли своего кантона и могу вступить во владение ими когда захочу. Я поселюсь в них с гражданином „Коммунизмом“, мы убьем всех детей и стариков, установим во всех семьях скотский образ жизни, будем выдавать на пропитание земледельцам по 6 су в день, а сами станем кутить за их счет.

Не думайте, что я преувеличиваю или что я шучу, все это буквально говорится. Вот как рассуждают наши добрые и кроткие крестьяне Черной долины! Не зная их, можно подумать, что все эти нелепости зарождаются сами собой в их суеверных мозгах. Но я отлично знаю их ум и здравый смысл. Они только легковверны, как все люди, которые живут вдали от фактов. В 1789 году фантастический страх распространился, как электрический ток, по всей Франции: всюду говорили, что идут *разбойники*. В 1848 году место разбойников заняли коммунисты-людоеды; о них не только говорили, их показывали. Всякий кандидат, неприятный реакционерам, к какой бы республиканской фракции он ни принадлежал, превращался в коммуниста в глазах напуганного населения. История отметит в свое время эту интересную фазу нашей эпохи. Потомство с трудом поверит ей».

Жорж Санд сильно возмущалась этой системой запугивания всегда робкого большинства, этим возбуждением одной части населения против другой, этим злоупотреблением именем учения, приверженцы которого не

пытались насильем проводить в жизнь свои утопии. «Мы надеемся, – пишет она вскоре по открытии собрания, – что народное собрание с самого начала своего существования откажется от этого преследования призрака коммунизма, который является для одних недобросовестным предлогом, чтобы в зародыше погубить лучшее будущее народа, для многих других – невежественным предрассудком, избавляющим от труда понимать истинное положение вещей. Если бы у нас спросили, коммунисты ли мы, мы бы ответили: если под словом коммунизм вы подразумеваете принадлежность к той или другой секте, мы – не коммунисты. Если вы называете коммунизмом слепое стремление бороться против всякой формы прогресса, которая не является непосредственным применением коммунистических теорий; если вы называете коммунизмом заговор для захвата диктатуры, мы – не коммунисты, так как мы убеждены, что идея о лучшем строе общества может войти в жизнь только путем убеждения. Но если под коммунизмом вы подразумеваете твердое желание, чтобы путем всех законных средств, признанных общественной совестью, установить человеческие отношения на началах справедливости и внести в них этический порядок, – тогда да, мы – коммунисты и смело заявляем это в ответ на ваш честно поставленный вопрос. Если под словом „коммунизм“ вы подразумеваете, что для удержания непомерного роста эксплуатации мы признаем одно только средство: государственное покровительство нуждающимся классам, – тогда да, мы – коммунисты, и вы сами станете коммунистами, как только потрудитесь изучить вопрос, грозящий существованию общества. Если под словом „коммунизм“ вы подразумеваете со стороны государства просвещенную, добросовестную, искреннюю и энергичную поддержку всякого полезного коллективного труда как формы, наиболее широко и целесообразно охраняющей индивидуальную свободу и все законные интересы, – да, мы – коммунисты, и вы с каждым днем будете убеждаться, что должны также стать коммунистами!»

Национальное собрание, избранное при условиях, так картинно изображенных Жорж Санд, естественно, видело главных врагов своих не в присмиривших реакционерах, а в тех самых массах, благодаря которым оно само явилось на свет. Первой заботой собрания и его исполнительной комиссии было стянуть в Париж и его окрестности как можно больше войск. Люксембургские совещания были признаны бесполезными, национальные мастерские закрыты, 150 тысяч рабочих остались без куска хлеба. Эти меры вызвали сильнейшее волнение. В течение четырех дней город был театром ожесточенной междоусобной борьбы. Восстание было

подавлено, 14 тысяч инсургентов взято в плен и до суда отправлено на понтоны, все вожаки засажены в тюрьму или преданы суду.

Глубокое уныние овладело Жорж Санд из-за такого неожиданного удара ее мечтам и надеждам. Как идеалистка и художница она с ужасом отступила перед суровой действительностью и навсегда отказалась от участия в политике, хотя еще года два сотрудничала в социалистическом журнале Барбье «*La commune de Paris*». Вот как сама она описывает свое тогдашнее настроение в предисловии к роману «*La petite Fadette*» («Маленькая Фадетта»): «После печальных июньских дней, потрясенная и возмущенная до глубины души, я искала в уединении если не спокойствия, то хоть веры. Если бы я была философом, я надеялась бы, что вера в идею может успокоить ум среди ужасов современной истории, но – увы! – я не философ! Я смиренно сознаюсь, что уверенность в неизбежности лучшего будущего не смягчает в душе художника скорби, вызываемой страшными междоусобиями настоящего. Людей действия, принимающих участие в политике, охватывает при всяком положении и обороте дела лихорадка надежды или отчаяния, гнева или радости, торжества победы или горя поражения. Но для бедного поэта, для праздной женщины, которые только созерцают события, не принимая в них личного участия, при всяком конечном результате борьбы одинаково остается лишь глубокий ужас при виде пролитой крови, глубокое отчаяние при виде всей ненависти, всех оскорблений, угроз и клевет, которые поднимаются к небу, как грязный смрад от этих судорожных движений общества. В подобные минуты бурный, могучий гений, вроде Данте, пишет слезами, желчью, нервами – мрачную поэму, драму, полную мук и стонов. Нужно быть закаленному водою и огнем, подобно этому уму, чтобы останавливать свое воображение на ужасах символического ада, имея перед глазами мрачное чистилище земных страстей. В наше время художник, более слабый и более чувствительный, – отражение и эхо подобного ему поколения, – чувствует неодолимую потребность отвести свои взоры в другую сторону и рассеять свое воображение, перенесясь к идеалу тишины, невинности, мечтательности. Он делает это, правда, по слабости, но не должен краснеть за свою слабость, так как она налагает на него известные обязанности. В те времена, когда главное зло состоит во взаимной ненависти, во взаимном недоверии людей, художник обязан воспевать кротость, доверчивость, дружбу и этим путем напоминать ожесточенным или отчаявшимся людям, что нравственная чистота, нежные чувства и первобытная справедливость еще встречаются в этом мире».

## Глава XI

*Романы из сельской жизни. – Жизнь в Ногане. – Марионетки. – Драмы. – Отношение к натуралистической школе, – Флобер. – Переписка. – Последние годы жизни. – 1871 год. – Смерть.*

После декабрьского переворота (1852 г.) Жорж Санд окончательно поселилась в деревне и только изредка наезжала в Париж. Следуя своей идее о том, что в периоды общественных смут и взаимного ожесточения художник должен воспевать любовь и невинность, она от пламенных политических статей перешла непосредственно к тихим и спокойным романам из сельского быта. Романы эти отчасти грешат тем же, чем и предыдущие. В них точно так же рядом с личностями, выхваченными прямо из жизни, появляются сильно идеализованные крестьяне с благородными чувствами, возвышенными идеями, литературно прилаженным языком. Передать слог и правдивую манеру выражений крестьянина представляло для Жорж Санд непреодолимую трудность. «Если, – замечает она, – я заставлю деревенского жителя говорить таким языком, каким он обыкновенно говорит, необходимо будет переводить его речи для цивилизованного читателя, а если я заставлю его говорить так, как мы говорим, я создам несообразное существо, в котором придется предположить ряд идей, чуждых ему». К сожалению, автору не удалось избежать этой последней ошибки, и ее босоногие героини и герои в деревянных башмаках нередко рассуждают, как вполне развитые, образованные люди. Положительные типы в своих сельских романах Жорж Санд обыкновенно берет из среды деревенских пролетариев, из числа униженных, обездоленных. Такова Мария в «La mare au diable», маленькая Фадетта, Франсуа-Найденыш («Le Champri») и пр. Ее отрицательные типы, напротив, принадлежат к деревенской аристократии: это разные кулаки и мироеды, разжившиеся, растолстевшие мужики, скряги и скопидомы, с презрением смотрящие на своих односельчан и мечтающие купить соседний замок какого-нибудь разорившегося дворянчика. Кроме этих двух крайних представителей крестьянского мира, мы встречаем в этих романах несколько очень живых портретов «хозяйственных мужиков». Это рассудительные, честные крестьяне, ставящие на первый план земледельческий труд, хранители старых обычаев и суеверий, консерваторы до мозга костей и деспоты в семье. Столкновения между этими тремя типами деревенского мира составляют канву историй,

простых по завязке, дышащих неподдельной любовью к природе, к сельской жизни, к страждущему человеку.

В Ногане Жорж Санд жила со своими детьми мирной семейной жизнью. Она всегда была нежной, любящей матерью: можно сказать, что материнская любовь была ее преобладающим чувством. Замечательно, что те мужчины, с которыми она сходилась, были почти всегда моложе ее, и в ее отношениях к ним примешивалась значительная доля материнства. Теперь это материнское чувство без всяких уклонений в сторону сосредоточилось на ее детях и на молодых родственниках и родственницах, воспитываемых в ее доме. Особенно нежная привязанность соединяла ее с сыном Морисом. Она относилась к нему, скорее, как старшая сестра и подруга, чем как мать и наставница; искренно и несколько преувеличенно восхищалась она его талантом в живописи, разделяла его страсть к минералогии и ботанике и проводила с ним целые дни в собирании и составлении разных коллекций; а когда он вздумал устроить в Ногане театр марионеток, она увлеклась этой выдумкой едва ли не больше него самого. Она писала пьесы для этих представлений, шила костюмы для кукол, придумывала декорации. Все члены семьи и друзья, гостившие в Ногане, принимали участие в представлениях, и Жорж Санд «угощала» ими приезжавших гостей, считая, что это должно доставлять им величайшее удовольствие. Крестьяне и соседи-помещики удивлялись, как могут образованные люди увлекаться такой ребяческой забавой, но Жорж Санд находила, что эта забава переносит ее в какой-то сказочный мир, дает ей возможность жить как бы двойной жизнью: с одной стороны, реальной, действительной, с другой – фантастической.

Маленькие пьески, которые она составляла для своих марионеток, навели ее на мысль писать для большого театра. Она начала с переделки своего собственного романа «Francois le Champri», и пьеса эта имела успех в театре. После того она написала еще несколько пьес, частью вполне оригинальных, частью заимствованных из ее собственных романов. Драматические произведения ее, в общем, гораздо слабее романов. Ее пьесам недостает сценичности, живости действия; ее действующие лица слишком много рассуждают, слишком умно разговаривают, и это надоедает зрителю.

Лучшей из ее пьес считается «Le marquis de Villemer» («Маркиз Вильмер»), переделка из ее романа того же названия; но при написании ее она пользовалась помощью опытного драматурга – Александра Дюма. Для постановки своих пьес в театре Жорж Санд надобно было бывать в Париже, и она приезжала туда обыкновенно на месяц, на два. Этим

временем она пользовалась, чтобы поддерживать и расширять свои знакомства в литературном и артистическом мире. В салоне ее собирались писатели различных направлений, художники, актеры, музыканты. И теперь так же, как в молодые годы, она не умела быть царицей гостиной, не умела держать нити светской беседы. Ее гости обыкновенно свободно разбивались на группы, а сама она присоединялась к той из групп, которая казалась ей интереснее. Несмотря на отсутствие блеска и остроумия в ее разговоре, все внимательно прислушивались к ее суждениям, высказываемым обыкновенно с полной искренностью и правдивостью. На литературных обедах Парижа она была по-прежнему желанной гостьей, хотя и не принимала активного участия в тех искрящихся остроумием беседах, которые там велись. Этот избыток остроумия, эта способность литературной молодежи вечно и надо всем шутить и насмехаться часто утомляли ее, и она с нетерпением ждала минуты, когда разговор примет более серьезное направление. Молодая натуралистическая школа, возникшая во Франции к началу 60-х годов, не могла сочувственно относиться к идеалистическому направлению Жорж Санд. Золя говорит, что ее романы представляют не что иное, как прекрасную ложь, что, читая их, он чувствует, точно стоит вверх ногами.

Жорж Санд признавала достоинства нового направления, к родоначальнику которого, Бальзаку, она всегда относилась с уважением, почти с восторгом; но она не соглашалась с мнением некоторых критиков, утверждающих, что писатель может не иметь собственных убеждений, что он должен только как зеркало отражать факты и образы. «Нет, это неправда, – говорила она, – читатель привязывается к писателю как личности, любит его или возмущается им, он чувствует, что перед ним живое лицо, а не мертвое орудие». Ее удивляло, почему молодые писатели «видят и изображают жизнь так, что все честное в сердце болезненно возмущается». «Я согласна, что Фелье и я – мы, каждый со своей точки зрения, пишем скорее легенды, чем романы нравов, – говорит она в одном письме к Эдмону Абу, – но мне хотелось бы, чтобы вы делали то, чего мы не умеем; вы хорошо знаете все раны и язвы общества; вдохните же чувство силы в ту среду, которую вы изображаете так правдиво!»

Со многими из представителей новой школы она была лично знакома и дружна. Особенную симпатию выказывала она Флоберу, может быть, потому, что он был несчастлив и ей приходилось ободрять и утешать его. В ее «Переписке» помещено несколько писем, в которых она выясняет противоположность между своим способом творчества и его и уговаривает Флобера обращать больше внимания на идею, чем на форму. «Я все

удивляюсь, почему вы работаете с таким трудом, – говорит она, – неужели это кокетство с вашей стороны? Не думаю... Что касается слога, я обращаю на него гораздо меньше внимания, чем вы. Ветер играет моей старой арфой по своему произволу. Она издает то высокие, то низкие ноты, то полные, то слабые звуки; мне это, в сущности, все равно, только бы явилось вдохновение. В себе самой я ничего не нахожу, это *она* поет по своей воле, худо ли, хорошо ли – не знаю. Одна мысль может утешать нас: если даже мы сами не что иное, как музыкальные инструменты, это все-таки недурное положение, и чувствовать, как нечто звучит в нас, – это ощущение ни с чем не сравнимое... Пусть же ветер свободнее играет вашими струнами. Вы слишком много работаете, вам нужно почаще давать волю этому нечто». Некоторое время спустя она журит его за то же с дружеской бесцеремонностью: «Ты читаешь, обдумываешь, трудишься больше, чем я и многие другие. Ты во сто раз богаче нас всех. Ты богач, а жалуешься, как бедняк. Подайте Христа ради нищему, у которого тюфяк набит золотом, но который хочет питаться одними выточенными фразами и отборными словами... Но, глупый человек, поройся в своем тюфяке и живи на свое золото. Питайся идеями и чувствами, накопленными у тебя в голове и в сердце; слова и фразы, форма, которой ты так дорожишь, явится следствием этого питания. Ты смотришь на нее как на цель, а она сама есть результат». «Сохрани свое поклонение форме, но занимайся больше сущностью. Не считай, что истинная добродетель – избитая фраза в литературе. Создай ей представителя, пусть честный и сильный человек явится среди безумцев и идиотов, которых ты любишь осмеивать. Уйди из пещеры реалистов и вернись к настоящей реальности, в которой прекрасное мешается с безобразным, тусклое – с блестящим, но где стремление к добру всегда находит свое место и свое применение».

В Ногане у Жорж Санд почти постоянно гостил то кто-нибудь из ее близких знакомых, то какой-нибудь больной артист или художник, которому надобно было поправить здоровье. Она очень любила, чтобы к ней приезжали гости из Парижа, но не всегда умела разыгрывать роль любезной хозяйки. Если мысли ее были чем-нибудь заняты, она не могла отрешиться от них и болтать с гостем о том, что его интересовало. Нередко посетитель находил вместо любезной приветливости рассеянную молчаливость, сильно смущавшую его. Рассказывают такой анекдот о приеме, оказанном ею Теофилю Готье, когда он в первый раз приехал к ней в Ноган. Она приглашала его самым настойчивым образом, и он был уверен, что своим приездом доставит ей величайшее удовольствие. Каково же было его разочарование, когда она встретила его без всяких изъявлений

восторга, с вялым, утомленным видом. Разговор между ними не клеился, так как она давала на всё короткие рассеянные ответы и наконец даже совсем ушла из комнаты для каких-то хозяйственных распоряжений. Парижанин, считавший, что принес великую жертву, приехав в провинциальную глушь, рассердился, схватил свою шляпу, трость, чемодан и хотел тотчас же уехать обратно. Один из друзей Жорж Санд, бывший при этом, поспешил предупредить ее. Она сначала никак не могла понять, в чем дело, а когда поняла, пришла в ужас и отчаяние. «Да отчего же вы не сказали ему, что я – дура!» – вскричала она. Ее привели к Теофилю Готье. Начались объяснения; при виде ее неподдельного горя он понял, что вышло недоразумение, и охотно остался. Жорж Санд вела постоянно обширную переписку. Кроме друзей и близких знакомых, на письма которых она всегда отвечала очень охотно и обстоятельно, ее осаждали просьбами всякого рода. Хотя она не изменила своим республиканским убеждениям, но было известно, что Наполеон III относился к ней с уважением и доверием. Поэтому к ней постоянно обращались с просьбами походатайствовать за того или за другого политического преступника, похлопотать, чтобы одного вернули из ссылки, другому смягчили наказание, третьему разрешили жить во Франции. «Когда я ничего не могу сделать, я не отвечаю, – рассказывает она. – Но если есть хоть малейшая надежда, я делаю попытку и должна сообщить об этом просителям». Один разряд писем она никогда не оставляла без ответа: это были письма разных начинающих писателей, просивших у нее советов и указаний или присылавших ей на просмотр и на разбор свои произведения. Она добросовестно прочитывала все доставляемые ей рукописи и прямо, откровенно высказывала о них свое мнение. Советы ее молодым писателям сводились, главным образом, к одному: учитесь, изучайте природу и жизнь! Если писатель не собрал заранее запаса серьезных сведений по какой бы то ни было отрасли знания: по истории, естественным наукам, политической экономии или философии, – его перо будет работать в пустом пространстве; чтобы труд его не пропадал даром, он должен прилагать его к сопротивляющейся материи, должен, обрабатывая свой сюжет, смотреть на него не с условной, банальной точки зрения, а гораздо глубже, рисовать свои картины на прочном фоне. «У вас есть инстинкты и вкусы художника, – пишет она при разборе одного из присланных ей произведений, – но вы можете каждую минуту убедиться, что художник, исключительно художник – бессилён, то есть посредствен или безумен. Вы думаете, что можете производить, не накопив. Вы думаете, что для этого довольно собственного размышления и чужих советов. Нет, этого слишком мало. Надобно многое

пережить, многое изучить, многое переварить; надобно испытать любовь, страдание, ожидание и все время учиться, учиться! Одним словом, прежде чем биться на шпагах, надобно уметь хорошо фехтовать. Искусство – вещь священная, чаша, к которой можно приступить только после поста и молитвы. Забудьте его, если не можете одновременно заниматься и серьезным изучением, и первыми опытами творчества».

Постоянная переписка, на которую Жорж Санд смотрела как на некоторую общественную обязанность, часто утомляла ее. «Надеюсь, что после смерти я попаду на какую-нибудь планету, где не буду уметь ни читать, ни писать!» – шутя говорила она друзьям.

И между тем до конца жизни она продолжала свою литературную деятельность. «Писать романы для меня наслаждение, – говорила она, – за ними я отдыхаю от всех других дел». Литературная работа всегда давалась ей очень легко. Фантазия ее работала неумолимо, а над отделкой формы она никогда много не трудилась. Одним из ее последних произведений были «Бабушкины сказки» («Contes d'une grand'mère»), которые она посвятила своим внукам. Эти внуки, дети ее сына, составляли отраду ее старости. Она сама учила их читать, придумывала им игры, забавляла их своими рассказами.

Самое лучшее понятие о последних годах жизни Жорж Санд дает ее письмо в ноябре 1869 года к Луи Ульбаху, хотевшему поместить в журнале статью о ней.

«Моя жизнь за последние 20 лет не представляет ничего интересного, – пишет она, – это старость вполне спокойная и счастливая в кругу семьи, омрачаемая, впрочем, иногда личными скорбями, утратами и смертями да общим гнетом, от которого все мы, и вы, и я, терпим одинаково. Я потеряла двух моих любимых внуков, дочь моей дочери и сына Мориса. Но у меня осталось еще двое внучат от его счастливого брака. Я люблю свою невестку почти так же, как сына. Я поручила им управление всем нашим именем. Время мое проходит в играх с детьми, в больших прогулках и ботанических экскурсиях летом (я до сих пор неумолимый ходок) и в писании романов, когда удастся посвятить этому часа два днем и часа два вечером. Я пишу легко и с удовольствием. Если вам интересно знать мое материальное положение, я легко могу определить его, мои счета не запутаны. Я заработала своим трудом около миллиона франков, но ничего не скопила. Я все раздала, за исключением 20 тысяч франков, которые отложила, чтобы в случае болезни детям не пришлось тратиться на мое лечение. Не знаю, удастся ли мне сохранить этот капитал: наверно, найдутся люди, которым он понадобится, и, если я буду чувствовать себя

достаточно здоровой и сильной, чтобы восполнить его, он уйдет от меня. Не говорите об этом никому, чтобы я могла подольше сохранить его. Средством к жизни служит мне теперь, как служил и всегда, мой труд, и я смотрю на этот способ жизни как на самый счастливый: не знаешь никаких материальных хлопот, не боишься воров. Теперь, когда нашим хозяйством заведуют дети, я имею возможность делать маленькие экскурсии по Франции: у нас, во Франции, есть много неизвестных уголков, которые нисколько не хуже далеких заграничных местностей. Я нахожу в этих уголках рамки для своих романов. Я люблю видеть то, что описываю. Хотя бы мне приходилось сказать о какой-нибудь местности всего два-три слова, все-таки приятно воскрешать ее в своей памяти: таким образом имеешь меньше шансов ошибиться. Все это, друг мой, слишком заурядно; чтобы заинтересовать такого биографа, как вы, следует быть великой, как пирамида египетская. Но я не хочу возвеличиваться. Я просто добродушная женщина, которой приписывали совершенно фантастическую необузданность природы. В прежнее время мне ставили в вину, что я не умела любить страстно. Я всю жизнь любила нежно и, кажется, можно бы этим удовлетвориться. Теперь, слава Богу, от меня не требуют большего, и те, кто меня любит, несмотря на отсутствие блеска в моей жизни и моем уме, не жалуется на меня. Я осталась веселой; у меня, правда, не хватает инициативы, чтобы возбуждать веселость, но я умею помогать веселиться. У меня, вероятно, есть большие недостатки; но я, как все люди, их не замечаю. Не знаю также, есть ли у меня хорошие качества и добродетели. Кто поступает хорошо, не может этим хвалиться, он только логичен и ничего больше; кто поступает дурно, тот сам не понимает, что делает; если бы он был умнее, он действовал бы иначе. Я не верю в зло, я верю лишь в невежество...»

Последние годы жизни Жорж Санд были омрачены франко-прусской войной и парижскими событиями 1871 года. В своем «*Journal d'un Voyageur pendant la guerre*» («Дневник путешественника во время войны») она картинно описывает все бедствия, причиненные войной даже в тех местностях, которых не коснулась нога неприятеля. По поводу парижских событий она пишет: «Я значительно переработала свой характер, я затушила бесполезные и опасные вспышки его, я засеяла свои вулканы травой и цветами, которые росли хорошо, я воображала, что весь свет может просветиться, исправиться или удержаться от зла... я проснулась от этого сна... А все-таки нехорошо отчаиваться... Надеюсь, все это пройдет. Но я болею болезнью моего народа и моей расы». «Будем плакать кровавыми слезами над нашими иллюзиями, над нашими ошибками, –

говорит она в письме к госпоже Адан. – Наши принципы могут и должны оставаться неизменными, но применение их удаляется». «Постараемся не умирать! – восклицает она в другом письме. – Я говорю, точно должна прожить еще долго, и забываю, что я – уже старуха. Не все ли равно? Я буду жить в тех, кто останется после меня!»

Жорж Санд скончалась в Ногане 8 июня 1876 года, сохранив до конца жизни энергию мысли и живость фантазии.



**Галерея женских образов в произведениях Жорж Санд. Составлена библиофилом Жакобом. 24 гравюры на стали, выполненные Робинсоном (H. Robinson) с рисунков первых художников-иллюстраторов**



**Жорж Санд. George Sand.**



**Edmée.**



**Valentine.**



**Louised.**



**Mezial.**



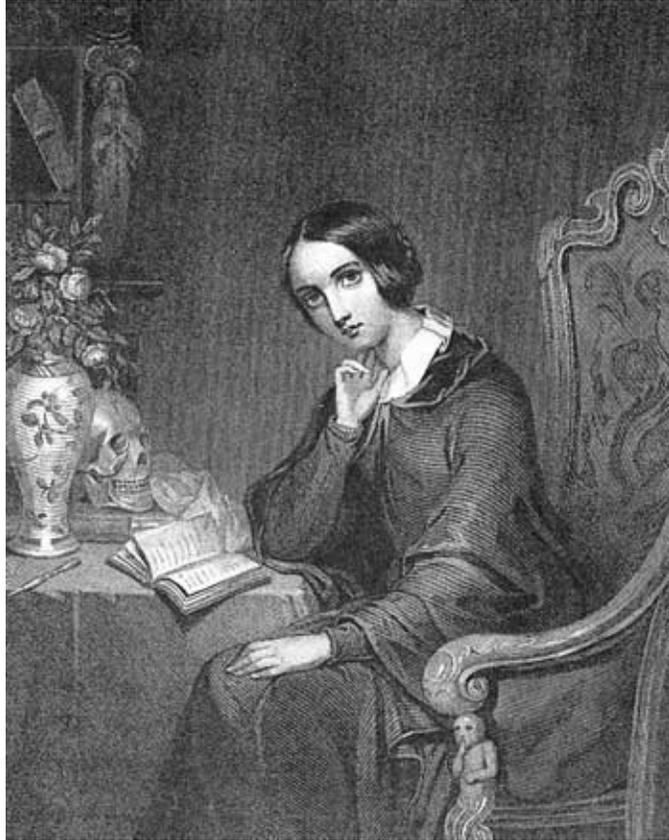
**Juliette.**



**Pauline.**



**Genevieve.**



**Jeult.**



**La Marquise.**



**Lélia.**



**La Lavinienne.**



**Mattea.**



**Métella.**



**Jiovana.**



**Naam.**



**Lavinia.**



**La Marquise.**



**Indiana.**



**Noun.**



**Fernande.**



**Marthe.**



**Consuelo.**

## **Источники**

1. *George Sand*. Histoire de ma vie.
  2. *Caro*. George Sand.
  3. *George Sand*. Souvenirs de 1848.
  4. *Paul Lindau*. Alfred de Musset.
  5. *Georg Brandes*. Die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen.
- 

**notes**

## **Примечания**

**1**

Современное написание – Ноан. (*Ред.*)

«Гений христианства» (фр.)

**3**

в курсе (фр.)

4

остроумием (фр.)

«Путеводитель по Франции», «Консуэло», «Мельник Анжибо», «Грех господина Антуана» (фр.)